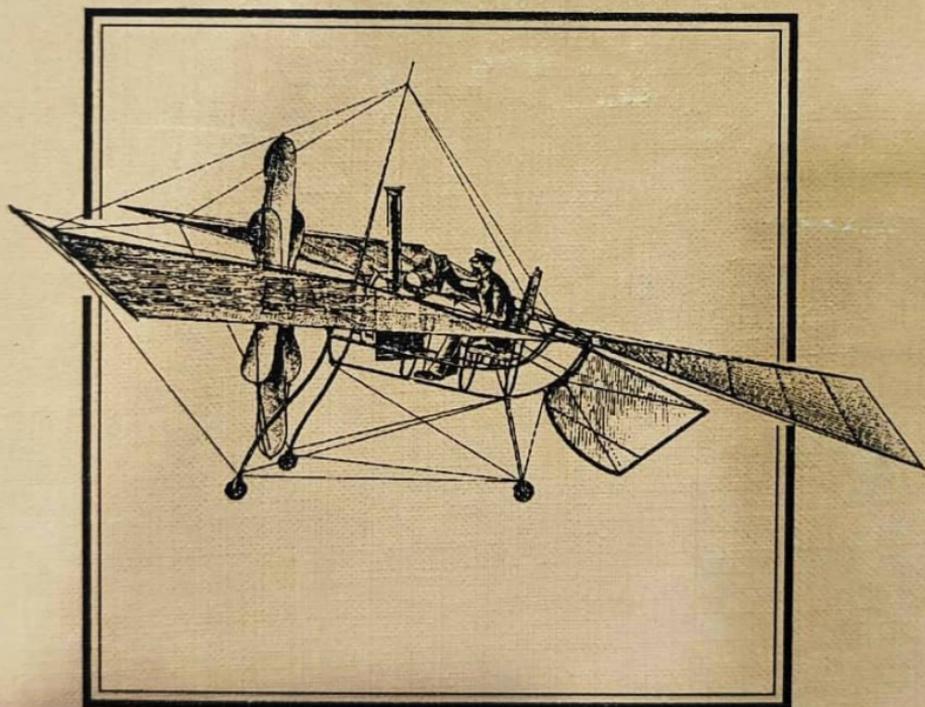


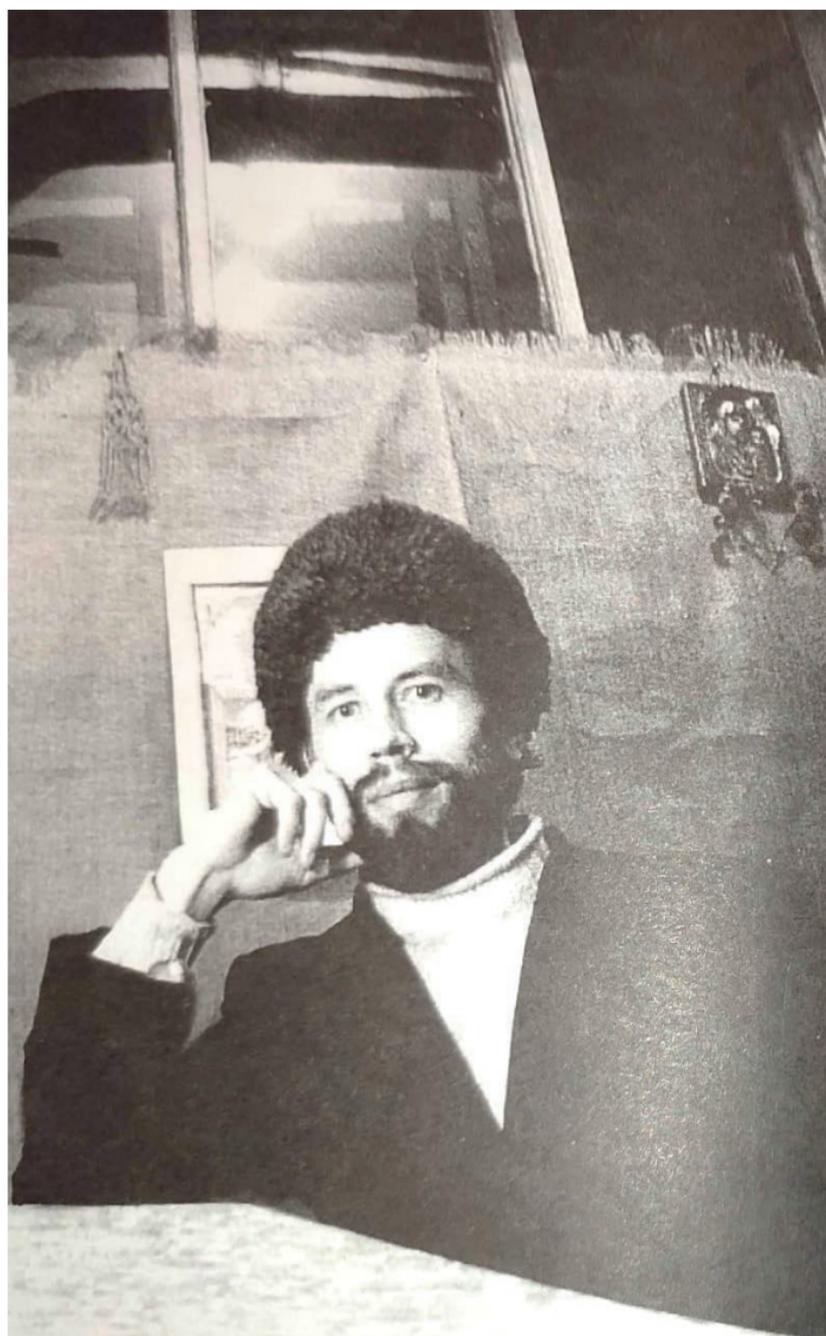
Александр
Миронов

ИЗБРАННОЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ



ИНАПРЕСС



Александр Миронов

ИЗБРАННОЕ

Стихотворения

и поэмы

1964 – 2000



Санкт-Петербург

ИЗДАПРЕСС

2002

Оглавление

ИЗ КНИГИ "ЕПОХИ" (1964-1969)	10
ГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ.....	26
ИЗ КНИГИ "ГРАЖДАНСКИЙ ЦИКЛ"	88
ИЗ ЦИКЛА "HEIM UND HERD"	100
СТИХОТВОРЕНИЯ 1974-1982	124
ИЗ ЦИКЛА "THERAPEIA"	233
ИЗ ЦИКЛА "SOLILOQUIA".....	242
ИЗ КНИГИ "ПОСТСКРИПТУМ" 1979-1982.....	246
ИЗ ЦИКЛА "ЦВЕТЕНЬЕ ДУХОВНОГО МЯСА" ...	295
ИЗ ЦИКЛА "КИНЕМАТОГРАФ"	299
СОДЕРЖАНИЕ	369

Как бестелесны и просты
плутанья наши –
от новой страшной немоты
до Новой Чаши.

И вновь съедобный наш Господь
в нас Слово сеет,
но слово обретает плоть,
а плоть радеет.

Добро бы путалась в сетях
плотских желаний –
она безумствует в словах,
во тьме гаданий.

Добро бы жить ей во грехе,
словесной птахе –
она растлит себя в стихе,
в тоске и страхе.

И снова станет небольшой
и полой чашей.
Сколь слеп чудак, своей душой
её назвавший!

Ей дороги одни азы,
зиянья, йоты –
её прельщает Сам-Язык,
супруг дремоты.

Он совершенен, словно шар,
но – бестелесный –
уж Он-то знает, что Душа
есть пар словесный.

Ничто, сплошной безумный сон
стениящей твари,
когда-нибудь, расщедрясь, Он
её одарит.

За все несчастья, за тщету
Он даст ей данность:
венец растленья, Немоту
и Безымянность.

1978

БАЛЛАДА О ФЛОРЕ СЛОВЕСНОЙ

Полночный вития пером шелестит,
Преступник по чёрному снегу бежит.
Се Жертва – не ведает смерти весьма.
Вития царит минотавром письма,
Шипит и крадётся злодею подстать,
Чтоб смыслы дневные как жертву пожрать,
Блаженную деву из племени роз...
Неужто нам нужен сей метаморфоз?
О морок душевный, отвергнутый зять,
Неужто нам Флору живую не взять?
Так в плотской тоске изнывая спешил
К заветной дыре рукоблуд-некрофил.

Почуяла дева зловещий намёк:
Луна покосилась, упал голубок,
И вот Он стоит с приговором в руке,
И мелкая дробь в соколином зрачке.
Все чувства её лепестками свело,
Но миг – и к Творцу возвратилось Число.
Осталось лишь тело – белковая клеть,
И вновь опустела словесная сеть.
Но только и нужно тебе, блюдодей,
Сблудить в тишине без особых затей,

И каплет вся сила твоя промеж ног:
Словесное семя в бумажный кулёк.

Жених запоздалый целует ей лоб,
Бумажные розы роняют на гроб,
Могильную норку ей выроет крот,
Преступник-пиит эпитафию ткёт.
И всё, что вотще Божеству и уму,
Царит вдохновеньем ему одному:
Шепнёт ему слово – напишет он сто:
Так в воздухе княжит сплошное Ничто,
Лелеет и мучит забывшихся сном,
То плачет, то пляшет, упившись вином...
Уходит пиит со своих похорон,
Горя вдохновеньем, а в нём – Легион.

Пока мой пиит в мертвецах своих спит,
О, ангел Тезей, посети Лабиринт
Души его, ставшей словесной тюрьмой,
И в Слове Господнем его упокой!

1978

ИЗ КНИГИ "ЕПОХИ"
(1964-1969)

Я перестал лгать
гать
ать
ть
ь!

Я стал неприносим.

1965

Как папоротника лист прикрыл момент укуса,
спаситель тополиный осыпал Словом страх,
но хлопья – врассыпную – водой, пугаясь гуся, –
смотри, как бьётся он на фоне чёрных трав!
Как тополиный взмах, серебряны посулы,
но жуткий серп жнеца свистит над головой,
и, слышу, молвит он: тебя – себя – спасу ли?
Ведь мною правит серп, от ярости хмельной.
Тобою правит серп, безумцем – кисть, мной – слово,
а идол видит лишь поклоны чёрных трав,
и тешит его ниц распластанная свора,
покорная годам, надеждам и ветрам.

июль 1965

Прикусывая дни, все овцы разбежались
и запятнали лес телами поутру.
Во мне плескался сон, пчелой жужжала жалость,
но думал, что проснусь и снова – соберу.

Во сне ли, наяву – раскидан я по соснам,
где жертвой светит лик, безумье затая.
Во сне ли, наяву – я призван или сослан, –
всё думаю – конец, а чувствую – стезя.

1 сентября 1965

Где лепетали волосы
кормушкой облаков,
нас оплетала лова сень,
и лепет был волов.
Где всё великое немот,
но рыбы царственная речь,
там в думах писанный урод
природе позволяет течь.
Уже ты умер! нет тебя!
Касаясь лапками стебля,
медведи ласково лились
от чашечки по стеблю вниз,
раскачивался пьяный слон
в качели мелколистных дней,
паук был сумеречный сноб,
глотаю мёд, но чьих очей?
Уже ты ласка или чаль? –
ленивец пел – не отвечал.
И губы тучами спеклись,
метая громы, лес губя.
Рифмуя ужас с бегом лис,
металась заячья губа...

Погоня длилась года дни,
где жертва жертвы жертв – мелка.
Лисы падали на пни,
не желая на меха...
Увы, когда ей был конец?
Увял торжественный певец.
Уже ты – ласка или чаль? –
"Как вам угодно!" – отвечал,
неслышно двигая власа
кормушкой неба в небеса

16 декабря 1965

Нечётно раз бежит Евгений
младенцев новых наводнений,
бежит туда, безумный муж,
где в муках мается Параша.
Дитя, сокрытое в ней уж
иных от, не спасенье ль наше?
Где львами сеяно "уа",
из стен сигают тулова,
а муж бежит, стихи слагая
о теле, вытекшем из норм,
и с ним одна его нагая
душа, являя форму форм.
Петрополь смотрится младенцем,
весь в позолоте и тоске.
И повелев душе одеться,
плывёт Евгений на доске,
плывёт, минуя сонм больниц,
под дикий хохот рожениц,
где наводненьем беспристрастен,
грозя Петрополю причастьем,
под одобрительные речи
плывёт дитя ему навстречу.
А он двух слов связать не может.
И перепунав ваше-наше,
Евгений спутницу тревожит:
душа она или параша?

июнь 1966

Белой ночью от гимна до гимна
можно видеть усопших майоров
с блескотнёю их душ голубиных,
с воркотнёй их мундиров морёных.

Над балтийско-советской волною
раскололи хребет партизану.
Вы плывите, и шведы, и финны,
вы поститесь, евреи, – глазами.

Вы не бойтесь, герои, опричнин, –
эту ночь государство заводит,
здесь и кошки, и дети по крышам,
как майоры усопшие, ходят.

июнь 1966

Плеяда всяких века позвонке
сошла в Аид, юродствуя, на третьем,
а Цербер их стал нелюбим столетьем,
он награждал могилой или клетью,
быв с Нибелунгом на одной ноге.

июнь 1966

СТАНСЫ

1

Я помню запах человека,
гонимого ещё недавно.
Лежал он, как собор, в соборе,
и головой цветы сминая.
И полусонный запах роз
мешался с запахом нездешним, –
так часто смотрим на себя,
мешая правый образ с левым.

2

Машина синяя везла
времен нездешних два крыла.

Я приобщился похорон,
я посмотрел ему в лицо:
как зеркало, оно текло,
пространств объемля половину:
там так же колокол звонил,
и поп торжественно крестил
святой водою голубиной.

1968

Сказал я: вот мои глаза,
тебе от них не будет толку,
и если спрячешь в глаз иголку,
забудешь всё, что я сказал.

А я сказал: мои глаза –
такие рыбы поднебесья,
что слыша зов мой – здесь я, здесь я, –
не покидают небеса,
но сговорясь и втихомолку
сквозь толщу слов и груды мяс
цветок подглядывает в щёлку
и именуют его Аз.

Цветок родимый, пальчик рваный,
ты кровью плакал в потолок,
и носом плавали гурманы,
и боль вдыхали невдомёк...

Зачем злодею обонянье,
зачем тебе мои глаза –
небесных узников сиянье
и рыб несметных голоса?
Блаженные, куда же боле
бежать и прятаться в цветок?

Господь нас создал для неволи,
покуда сетью не извлёк.
Я голубую птицу Кар
на небесах своей страны
возьму – летающий футляр
моей души и тишины.

8-9 апреля 1969

Ворона хлопает крылами,
качая дерево сухое,
и время, сотканное нами,
летит, как облако больное.
Я в облаках твоих, приятель,
сизу, раскачиваясь, в клетке.
Порхают дети, словно яти,
в конце раздумчивой строки.
Я обнаружен, словно дятел,
я заколдован, словно ветки,
меня качают в пальцах цепких
одни вороны-дураки.
Мой милый друг, я только шар,
я круглый дух несоответствий,
крутое яблоко добра,
одетое в личину бедствий,
больное облако высот,
я упаду в небесный вертеп,
и мнимых чисел хоровод
меня окружит после смерти.
(Прощай сегодня и вчера,
прощай, ворона недотрога,

ещё немного топора
и выстрела ещё немного).
Рулетку чисел повернуть
рукою ангельского чина, –
позволь сегодня мне уснуть,
всему вороною причина.

5-9 декабря 1969

ГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Я вхожу памятью в этот дом, как входят в числа, медленно, осторожно, как Дант наматывал круг за кругом – в Ад, Чистилище и выше к мнимому пределу – в Рай, в Мнимость. А дом этот – просто сумасшедший, как и всякий дом, и есть от чего там сойти с ума, а с другой стороны он и упоминания недостойн, ведь сумасшедшие явления можно наблюдать и в природе: снег летает – разве это не сумасшествие?

Едва придёшь как упадёшь
На белый свет на снег печальный
Цветами устланную ложь
Едва придёшь уже уйдёшь
На голос меди погребальной

Едва полюбишь неспроста
Ты простоту земного тлена
Истлеют медленно уста
И словно совесть нечиста
От века верность и измена

1974

Легче газа и призрачной сна –
тяжелее не вымолвить слова –
жизнь твоя не моя ли вина?
Не вина ли – вина золотого?

А сказать, что Господня вина –
искус страшный смущает мне душу
хмель стряхнуть и восстать ото сна.
Что скажу – то скажу: ты не слушай.

Всё мне чудится времени дно,
всё мне грезится – выпито мало.
Что скажу – не скажу – всё одно.
Легче вылить вино из бокала.

Январь 1972

Господня смерть кружится надо мной,
мышинный век – знаменьем осеняя,
и в тайну тайн влечёт нас ветер злой,
теньями – листьями играя.

Укромней мёртвых спрятаны слова,
но страх Господень – всякий день узнаешь,
замолкла в схиме пленная Нева,
лишь век шуршит – и не поймаешь.

В немой стране я всё-таки любим.
О, не разрушить бы – дыханьем! –
единым словом, возгласом одним
тончайший воздух вечной ткани.

Пусть тени слов мелькают чередой
в прогорклом воздухе молчанья.
Господня смерть кружится над водой.
Снег, свечи, ангелы, венчанье.

1972

Чистых эссенций ищет томящийся разум.
Чистых страданий ищет страдальцем
рожденный.
Чистой услады жаждет певец наслаждений.
О, как нечисты помыслы наши и лживы!

Боже великий! Бог триедино-преславный,
Господи сил, отжени от меня наважденье.
Духа нечистого жар пожирает мне душу,
Пиррона огонь сожигает трепещущий разум.

Знаю, пока время меня не минует
Чашей цикуты, ядом запретного плода,
Буду молить, Боже, Твоё Триединство
О погруженьи в чистое благо познания.

март 1974

Смех мой, агне, ангеле ветренный,
подари мне венец нетления,
Бог невидимый – смех серебряный,
светлый Бог океана темного.

Бес, над трупом моим хохочущий,
враг, пятой меня попирающий,
смех – любовник мой вечно плачущий,
узник в камере мира тварного.

Смех, страдающий в танце дервишей,
я – Иуда твой, друг тринадцатый.
Приготовь мне петлю пеньковую,
Бог мой – смех, меня отрицающий.

март 1973

И сладость смертная и горечь бытия,
и горе превышающее меру
рассудка, бред и темень забытья,
безумие обиды иль соблазна,
убийство, боль, сомненья, торжество
не стоят одного –
нечаянно единственного слова.

март 1973

ЗАВЕЩАНИЕ

Когда умру я не умру умру
тончайшим дымом папирос вождя
из Ваших уст Герцеговиной Флор
я оживу в один ненастный день
из Ваших глаз я погляжу с тоской
на онемелые знамёна лиц
на пузыри равновеликих слов
вершащих судьбы нелюдей людей
и образ Божий среди всех чудес
мне не померкнет в этот страшный день

29 февраля – 1 марта 1972

Я не мечтаю, отец мой, о твоей мудрости: довольно с меня питаться крохами её – о любви, которая влекла тебя, – все мои помышления. Как это? – думаю я – ты следишь кружение листьев, и страшная тайна смерти овладевает душой. Всё это было бы слишком просто: осень, кончина – но смерть для тебя Воскресение и встреча с другом – вот почему: падение листьев – это и скорбь и веселье, и Вечная Память. Милый мой, любимый, брат – о, это вхождение в числа!

Под окна твоей кельи падают листья как Мнимость – странная декорация падшей природы. Кусты расцветают в устах, едва произнесёшь слово Молитвы. (Медоточивая речь! О нет, сохнет гортань и спирает дыхание, ноги подкашиваются, а семенные железы разбухают – но в устах твоих расцветают кусты).

Я думаю, отец мой, о вашей Дружбе, воссиявшей в Троице, и плачу о том, как много любил без любви.

Я ночь как сидень просидел
И голову в руках сжимал
Мне было страшно я потел
И мысли спичками сжигал
Вы спросите меня – зачем?
Я вам отвечу дверь уву дверь
Но только воет по ночам
За ней скрываясь хитрый зверь

1970

Шипит котёл огнём объятый
Сидит Евгений за столом
Листая том и гибнет муха
Приворожённая теплом
Летает бес во мгле ненастной
Как тать к Евгению спешит
Да опалит тебя несчастный
Святой огонь его души
Евгений книгу закрывает
Ум запирает на молчок
Акафист сладостный читает
И спать ложится на бочок
Шипит котёл огнём объятый
Теплом обманывая мух
Евгений спит и в горних странах
Кружась витает его дух

ноябрь 1972

Тучки по небу поплыли
Словно трупы по воде.
Я в снежок виском кровавым
Пред тобою упаду.

1973

По волнам небытия
Плыли ты и я
Волны длились как змея
Ты конец начало я
И душа моя

На зелёном на лугу
Я тебя не сберегу
Сердцем в мячик поиграю
И скажу Агу
Только ни гу-гу

1974

Устав внимать словам как сводням
Я перестал их понимать
Мне снился свет во тьме Господней:
Двоих связала Благодать

Их поцелуй был щедр и долог
Вино любви – из уст в уста
И нет ни слов ни недомолвок
Лишь свет во тьме и немота

Она была благоуханна
От слов ловимых на лету
Я не успел сказать "Осанна"
Но вспомнил птичью простоту

1973

О, как мне век обезоружить
И мир узреть в его началах?
Что пить вино – что нежить душу –
Земного мало.

Мы все узнаем после смерти:
И смерть, и воскресенья сроки.
Любви затерянной в конверте
Да сбудутся залого!

1971

Когда у Девы ласково спросили:
Зачем тыходишь в Рай не помолясь?
Она сказала ангелу: Сегодня
Мне не везло: протухла колбаса

Когда у нежных юношей спросили:
Какой дорогой вас вести в Аид?
Они сказали: Той, что ближе к цели,
Она скорее к цели приведет.

Когда детей невинных возносили
На лёгких крыльях ангелы небес,
Сказали дети: Будем непреклонны
И не отступим убеждений пядь.

ноябрь 1972

Восстал, как оползень, опившийся вигвам,
Но мне гулять уже не страшно.
Все вещи вновь привязаны к словам
И кровью детской напитались брашна.

О Боже, нацеди там терпких мук,
Безглазых и немых страданий!
Да будет смерть простой и горький звук
Сред бесконечных вздыханий,

Среди пространств преображённых в тень
Покорным воле Герионом,
Где неприметный падает олень
С неслышным, как молитва, стоном.

Всё кончено. Иудин город жёлт.
И сфинга спит, неведеньем насытась.
Со стен домов стекает красный шёлк
Иль кровью обогранный ситец.

1974

Природа делает поэтом
Когда в душе у вас кристалл
Поэт красив неясным светом
И по-младенчески устал

Он пишет день одним размером
Другим размером пишет ночь
Кусает грудь его химера
И некому ему помочь

Один лишь Бог взирает где-то
На бесконечные снега
Но он плюётся на поэта
Который жарче утюга

Поэт в отчаяньи трепещет
Ему соблазном – колбаса
Ему химера – дева блещет
Распоясав пояса

И жуток крик его полночный
Как бужто стонут петухи
Но уж теперь-то он воочью
Напишет пальцами стихи

1973

Случается, я размышляю о нём, как о праведном завете. Что силы, что толку в подобном размышлении? Слова живут, покойники забываются. Ведь нельзя же в самом деле вспоминать человека как идею – это как в зеркало смотреться: удивляться своей тупой плоскости. И напротив, духовное воспоминание, как воссоздание пространства вокруг невидимого тела. Тело невидимо, но состоит из плоти, и едва мы угадываем его, как оно исчезает. Сознание наше подобно бабочке, проснувшейся монахом: где сон, где явь? Но есть, верно, нечто общее и в бытии бабочки и в сознании монаха –

Духовное воспоминание эфемерно, но эта эфемерность светла и благодатна. Эфемерные образы благодати способны взаимозаменять друг друга. Так монах становится бабочкой, ибо отшельничества – их общих удел. Вы могли бы мне напомнить о бабочке-Sphinx, которую привлекают запахи трупов и гнили. Есть и мнимая благодать, паразитирующая на грехе... Впрочем, рассуждать об этом можно лишь оборотясь в бездну зеркальности, где благовонные запахи сливаются с запахами отбросов.

Я не о том... Отчего же сознание такими усилиями пытается вычернить образ, заместить человека идеей? Не потому ли, что идею проще облечь в несовершенные слова, а образ нуждается в совершенных?.. Пожалуй, есть единственное лицо, где образ и идея слились воедино, но ведь это лицо – не досужий домысел человека – в нём суть Любого Образа и Любой Идеи. В нём: всё умирает и воскресает в новой плоти. В нём: сжигается любая идея, высвечивается образ...

Я вспоминаю о нём, но больше не о нём, а о том, что окружало его. Ведь некоторое время мы были с ним вместе. Мир высвеченный его взглядом был иным. Я вновь вспоминаю о монахе и бабочке.

Ещё скажу о небесах:
Земля черна и нету мочи
И как слепцы толкуются ночи
И дни повисли на весах

Любимый, что тебе сказать?
Мы заплутались в беспредельном
в дурмане осени похмельном
Нам надо бога отыскать

Кружатся листья словно дни
Смерть – неусыпная морока
О Боже, дай нам раньше срока
Избегнуть этой западни!

Господь, прости нас за глаза
С любовью нашей неумелой
Уж в очи сыплет смертью белой
Любимый, что тебе сказать?

сентябрь 1971

Нет, память – не ноша, а пьяное время,
Мохнатый Эриний услужливый рой.
Умершее в сердце горчичное семя,
Горчайшее время с полынной звездой.

Вино настоялось и кружится время,
В слепой круговерти лишь тело живёт,
Лишь тело – нелепое горькое бремя
В горчайшую Лету, как время, течёт.

Психея, ты слышишь? – Не слышу, довольно
Соблазнов твоих запечатанных уст
В сургуч поцелуев... – Психея, мне больно:
Любовь соловьиная, розовый куст...

Душа так беспечна, ей снится и пьётся
Глухого беспамятства воинский мёд.
Но время – в крови, и Психея вернётся
И кровь дорогую на пробу возьмёт.

О, винное время безвинного пьянства,
Ты знало давно уже всё наперёд.
И мёртвое тело, как храм постоянства,
По вечной реке, как по жизни, плывёт.

1974

Два солнца в моих глазах,
Два ангела на часах.
Здесь – горечь, глухая медь.
Там – звон, верещанье, смерть.

Два лета, как в зеркалах,
Любовный лелеют прах:
Как быть, как любить, как сметь
И облаком умереть.

Да полно: со всех концов
Господь нам пришлёт гонцов
Седых от любви отцов,
Пока ещё без венцов.

Все звоны монастыря
О нас прозвенели зря,
И лишь комариный рой
За нас постоял горой.

1974

о. Алипию (Воронову)

Всё лето мёд горчит звездой полынной,
Три инока в овраге речь ведут
О Сыне и о бездне соловьиной,
О певчей смерти, побывавшей тут.
Грачи летят над лестницей кровавой
На пир вечерний с Церковью Святой.
Позволь и мне вечернею забавой
Потешиться с тобой.
Я подожду, пока благословляя
Не отведёшь пресветлых глаз.
Дай мне пугач, я тоже поиграю
Хотя бы раз.
А он стоит, сам-князь на пире брачном
Крылатый, Божий и ничей,
И обнимая взглядом мир прозрачный
Стреляет галок и грачей.
Ложится спать пред утреней субботней
Всё мясо рыбой окрестив окрест
Свеча горит у Матери Господней,
И воробей тугое сало ест.

1974

Дм. М-ву

Пиши, мой гений, сердцу моему
Сегодня, завтра, или в восемь
Забудь о сне, о прелестях мирских
И дланью щедрой раздавай знаменья
Но прикуси взыскующий язык.

Страна темна, невзрачна и в крови
Ей стоило б засохнуть на корню
И превратиться в деревянный лапоть
Прости свой перст и укажи мне путь
Уж коль не ты, кто нам поможет
Чертить число Небытия
Кто воинство цветов умножит
И чья поднимется рука
Свернуть молодой надежде шею
И смысл последний упразднить?..

1972

Славно поют советские люди,
бражки хмельной вволю напившись,
"Горько" кричат, лобзают друг друга
в тёплые, кровью налитые губы,
жарким партийным своим поцелуем.
Я же один их веселью внимаю,
сидючи тихо в будке собачьей...
Бисер печальный осыпал деревья,
ночь надо мною – бессмертья пучина,
смерть предо мною – бессмертных забава.

1973

В окне моём ржавеет осень,
а в комнатах так дурно топят;
сосед мой шепчет: "Гносис, Гносис..."
и вязкий мёд познания копит.

1974

Я брошенный, но кем, когда,
В которую пучину
Есть женщина и есть звезда
Есть Бог и есть мужчина
Есть мир – святая простота
Есть воздух – не причина
Но мир убудет до креста
А воздух разорвёт уста
И станет женщина чиста
Как мужества личина

Я брошенный, куда, зачем?
В какое время года?
В безумие, в личину, в чернь
В отверстие небосвода
Есть мир – как спелые уста
Есть простота уroda
Но мир убудет до Креста
Урод прильнёт крестом в уста
И мир окажется тогда
Игрушкой урода

1974

Миры растворяются и наступает ясность – но не словесное Око Божества пронизает сознание, не светом озарена душа – тьмою. Но тьма и есть ясность: так устали глаза от мельтешения миров; за тьмою подразумевается Нечто. Мерещится тайна, Великая, Страшная: кажется, живому не проникнуть в неё – вот-вот остановится взбесившееся сердце, а если не смерть, то сумасшествие, и спасти может только луковка – живые ростки молитвы. Вдруг: во тьме: словно тучи упали с ночного неба и воссияли звёзды – высвечиваются слова, понятия, островки памяти: всё в какой-то бессмысленной чистоте, спонтанной первожданности – каждое, каждый, каждая, словно осиянные светом своих аур.

Тьма как кладбище, и из тьмы – бездейственные островки жизни, и жизни в них ровно столько, сколько в трупных червях – светят, светят себе и гаснут, миг – и возникают другие, всё в той же чудовищной разобщённости и точности, словно рок, подстроенный гневным произволением богов, – жизнь без конца и начала, срединная жизнь без всякой временной последовательности, бессмысленное

томленье событий, лишённых души. Тогда-то и понимаешь: главное – во тьме, за пределами тьмы – там держащий в длани могучей нити событий – в длани держащего – единый их смысл: тьма же есть разделение, тайна сцепления жизни и смерти, ещё проще – смерть. Но, однако, если задержаться взглядом на каком-нибудь островке, он из плотного сгустка превратится в туман, приблизится, окутает страждущее сознание миллионами смыслов успокоительного древнего мира – и Тайна исчезнет, как не было. Успокоится сердце в разнообразных заботах, ум затуманится – и заснёшь. Так – до следующей ночи, а у некоторых – и до конца. Иные и вовсе не поймут здесь написанного.

Тайна, тайна – раздражительное это слово: кто тайна, где тайна? Эта ли баба – славный русский тип наших Венер – широкобокая, грудастая как корабль, с глазами, вдруг поработавшими пространство, – тайна? Или тот мужик с мутно-голубым взглядом, словно упершимся в доску, с ладными крепкими мыслями (ляжками). Вот идут они навстречу, вот сойдутся. "Красивый, священник, наверное", – подумает баба. И то и другое и третье – тайна, и мысль бабина – страшнейшая из тайн.

Для чего сошлись они в мировой пустоте и что произошло? Ведь что-то должно было произойти. Состав воздушных микрочастиц изменился. И если представить, что в тот же самый момент в церкви

Спаса Преображения был заклан Евхаристический Агнец... –

В голову всё чаще приходят вздорные мысли. Иногда так вот хорошо думается о себе: "Может быть, это всё тот же БИНЕР, только уже на каком-то высшем уровне?" А подумать иначе: одна глупость и пошлость. Однако там – во тьме – неоформленное – состояние это кажется почти что благодатью, мудростью – не своею, ангельскою; скажешь, напишешь – получается мудрование. Там во тьме распадаются мириады миров и каждый вопиет к Единству, там во тьме разбивается сердце на мириады осколков, разрушается, растворяется до Времени – плоть. А скажешь, напишешь: до того пошло, будто всё едино, будто весь распад только ты и выдумал, чтобы сыграть на чьих-нибудь струнах, может быть, и на своих. И словно в двухмерном пространстве: болотный город, слизь прохожих на асфальте, железные уроды с сердцами человеческими – грохочущие на колёсах – тошнотворнее любого вымысла – страшная и будто бы вечная организация, дотошная в самых мельчайших своих смыслах.

Бессмысленной громадой навстречу Апокалипсису встают великие помыслы человечества. Изнутри: размываются границы государств. Бужет ещё время подумать: время временное. Умрём – и прейдёт время. Жаль: не увидим Великого Соединения. Те, кто увидит – не увидит – лучше бы им не родиться; среди них – Антихрист – самый хороший человек на свете.

1972

Родина моя, беременная солнцем,
Дай вкусить из уст твоих
Влагу мощи небывалой...

ноябрь 1972

На Руси, на Руси, на Руси
Сапоги, утюги, караси,
Дураки, дураки, кружева,
И о каждом одна голова.

За Москвою-рекой у межи
Повяжи меня, мил, повяжи
За Окой, за Окой, за Окой
Упокой, упокой, упокой.

1972

Когда народ гуляет молодой
С весёлым пением вприпляску
Я под окном стою совсем седой
Тая в груди большую ласку
Луна колеблет облако слегка
Владея юными умами
Пройдут минуты, годы и века
И я взлечу над головами
Я полечу в ужасной тишине
Служить невидимому Богу
И всё вокруг внутри и вне
Закопошится понемногу

1972

ЭПИГРАММА

Я молод, ты уже – в годах,
Я прям, как стебель, ты же – хром,
И гадость у тебя в губах,
А я всё свеж, как Аполлон.

1973

Мне умереть, как кашу съесть,
О, варево без вкуса!

1974

Русской сказке не видно конца
Всё качнётся – начнётся сначала
Будут петь и любить до отвала
Есть свиней и играть в мертвеца

Боже правый, как кружит нас бес
Памятуя о немощи нашей
Ограничимся постною кашей
И поставим на времени крест.

май-октябрь 1972

Всего лишь несколько дней – несколько дней сверх этого года – и никто уже более не увидит народа нашего, народа смердящего, говорящего странным и невразумительным языком. Пропали твои труды, виноградарь, и никогда не настанет жатва. Мы сделали всё, чтобы ускорить погибель нашу, – не возопили за помощью к отцам и потому бездетны, погнушались одеянием рабов и остались нагими, претворили камень в хлеб, а хлеб этот стал для нас камень. Уйдём ли мы теперь в Египет теней или будем судимы – самим Милосердием? Кто нас рассудит?

Фараон говорит: время. Да не коснётся суд его вовеки – недостоин он всякого суда, ибо говорит от своего лица. Нас же, Господи, говорящих не от своего лица, помилуй!

И среди нас будут многие, кого Суд не коснётся. Как бы повисшие между небом и землёй возжаждут они разделения – но дастся ли им? И одна рука будет враждовать с другой, и одна нога подавит другую.

1971

Куда бежишь ты, бедный исполин,
с волосьев небо отряхая,
когда конец у времени один
и в небесах – кровавых чисел стая?

Куда идёшь ты, пьяная страна?
Двуглавое чудовище желтуха,
безумная, – пол-языка, пол-уха,
ужо, ужо, получишь всё сполна.

Смотри, восходит красное число,
и зверь с тобой сразиться хочет,
и будут воды – ровное стекло,
и станут дни подобны ночи.

Качнётся время в каменном гробу,
заслышав шум неправой битвы,
и ангел гнева протрубит в трубу
свои проклятья и молитвы.

1972

Открывая себя наугад,
я помыслю Грядущее слово,
и опять, невзначай, не попад
виноградные лозы в цветеньи...
Открывая себя наугад,
я слежу молчаливые тени
стороживших всю ночь этот сад...

Всё пройдёт, как богатства Иова...
Нет не бисер – лукавое слово.
Разве нищим мы дарим слова?
Все круги повторяются снова:
смерть, мерцающий Рай, *vita nuova*,
а душа без молитвы – мертва.

1972

СТАНСЫ

I

Уйду безумно как часы
В уста молитву и берлогу
Где всякий Миг подобен Богу
И пенье тонкое осы
Где смерть почти неразличима
А жизнь посмертно величава
Уйду в себя в тебя и мимо
В конец далёкий как начало
В уста безмолвия пределы
Придуманные Богом стены
В одежде свадебной и белой
Молитвы горькой и нетленной
Уйду скользя и постепенно
Туда где время не начало

II

Любимый, словно Божество,
Причудлив, ветрен и неловок
И не найти вовек верёвок
Чтоб крепко полюбить его
Любимая – такая дичь
Что дастся в руки без усилий
Но только конь, сопревший в мыле
Отважится её постичь
Я тело длинное несу
По миру словно колбасу

III

О, нету мира, нет меня
Ничто – бессмертное начало
Есть мир – увы, мне мира мало,
Ему – не достаёт меня
О Дао, Бао, Баобаб
Еврейский Будда, прыщ Германский,
О Боже, прародитель бомб,
Услышь меня, я – краль испанский
Уста твои в расцвете лет
Секунд минут часов столетий
О Боже, среди множеств Будд
Быть может, я Единый – Третий?

IV

Уж полночь! Крупное число.
Уста черны и молчаливы
(Всю жизнь мне крупно не везло...)
Число к числу – ответ счастливый
Написан в чёрных небесах.
(Всю жизнь – у Бога на глазах...
...без вдохновенья, без пристрастья,
как чёрный ангел на часах
безвременья и безучастья)

1974

ПРИЧАСТИЕ

1. Шумы населяют мир: вникни в шум облекись в слово.
2. Слова подобны микробам, носящимся в воздухе. Мы вдыхаем из и выдыхаем. Однако некоторые из них заразны.
3. Слова смертны. История слов – история человечества.
4. Словесное одеяние человека переживёт его смерть.
5. Шум – магия слова.
6. Смысл – плоть слова.
7. Дух – воскресение слова.
8. Имеющему – прибавится,
У неимущего – отнимется.

Этот лес и сонмы ос
Стал сплошной метаморфоз
Идиотов словно роз
Заплели в букеты
Покатились дни колёс
Вафли да конфеты

Стало скользко пить и есть
Стало нелюдимо
Самый славный подвиг – мечь
А не слава и не честь
Всё что было всё что есть
Соткано из дыма

Сладок дым и вкусен Бог
Плавающий в чаше
Этот мир не так уж плох
Словно выдох или вздох
Словно эх влетело в ох
Слово дым хрустящий

1974

Давай дробить на буквы мир
И клеить сновиденья
Смешав барокко и ампир
Котлету и варенье
Давай сойдёмся как тела
Приклеенные к Богу
Чтоб закусивши удила
Найти к Нему дорогу
Давай убудем навсегда
В кровавую беспечность
Где есть вино еда вода
Крест божий мрак и млечность

1974

Плод покаяния – покой
Средь суеты и лиха
Как плод пугливый под рукой
Ворочается тихо

Как плод жены, смертельный плод
Плод яблонева древа
Свод гробовой – небесный свод
Покой земли и чрева

Но как забыть уста в раю
И славное бесчестье
Двух тел у смерти на краю
Двух призраков безвестья

О всё забудем впопыхах
И выпестуем вместе
Покой легчайший словно прах
Уроненный в безвестье

1974

I

Каждый из нас или почти каждый смог бы рассказать о своей смерти Я словно вижу себя как мертвеца ожившего лишь для того чтобы сделать глоток крепкого чаю вдохнуть аромат ночной фиалки Все обступившие меня делают то же самое Исчезло и вновь возникло время Я был вещью а теперь наблюдаю время в вещах Никто не произносит ни слова но уста полны и могилы доступны взорам И тут я вдруг вспоминаю Шуваловское кладбище живой лес крестов живое обиталище мёртвых Но разве это смерть? Смерть тогда когда мы допиваем свой час и спешим раскланяться друг с другом приступая каждый к своим делам Я хотел бы умереть окостенев в живой позе с чашкой чая поднесённой ко рту.

II

Я всё бегу не в силах остановиться Другие делают больше но стоят на месте а когда бегут время бежит

вместе с ними Я бегу а время стоит я останавливаюсь
время пронесется мимо Но иногда это бывает так
редко мы с ним как два неумелых любовника Наши
тела как-то должны соприкоснуться но между нами
пустота жизнь и мы застываем мгновением отражаясь
друг у друга в глазах Наша последняя встреча будет
смертельной думаю я

III

Смерть похожа на лепестки роз осыпавшиеся с гроба
на каменный пол церкви Жизнь – медленно
ржавеющий под дождём жестяной венки прислонённый
к кресту Смерть всегда только образ Умирания жизнь
– образ смерти Но смерти нет только пища запахи
лица цветы пришедшие ниоткуда

IV

Из всех мимолётностей величайшее – страдание
И если мы не будем мельчить то найдём единственный
величайший ЕГО ОБРАЗ – ИИСУСА ХРИСТА И
если мы иногда смеёмся Господь не смеялся никогда
Его улыбка столь же чудесна и действенна как
земляная паста которой он покрыл веки незрячего
Наш смех пожирает самого себя Нашими слезами
нужно солить пищу

V

Среди тысяч смертей и Его смерть В ней всё осмысленно Тайна жизни Его – в кровавой чаше – святая плоть омытая святой кровью Эту тайну не человеку разгадывать но дано человеку человечески – большее: насыщать Ею свою душу Любители разгадывать тайны умирают Он же воскрес на третий день.

VI

Господи кружится Твоя смерть всякое время года – падение листьев слезу или падение снега...

О Боже облак, дай мне силу жить
В устах цветов найти отраду
И лица словно облаки следить
Без тени смысла в чертеже и слове
Порхающем из легкоумных уст
К ушам безумным монстров бессловесных
Не испытавших горький уксус слов
Не слышавших последнего: свершилось

1972

Авва мой, дитя с глазами скворца
Я услышал крик твоего конца

Ангел мой, дымок в седых небесах
Сны земные спят в твоих волосах

Кто тебя превратил, мой любимый, в дым
Ты – единый судья палачам твоим

Расскажи о цветах и созвездьях им
И услышишь: не ведаем, что творим

Ангел мой и хранитель моих ночей
Отвори животворных очей ручей

Назови мне имя своё в миру
Сохрани меня, пока не умру

1972

Дитя моё, свершилось! Издалёка
Через мириады слов и лет
Словесное нам просияло око
Предивный показаша свет!

Я знал что словеса благоуханны
Неосязаемы как Дух
Но странно – словно Лазарь бездыханный
Себя обрёл я сразу в двух

Дитя моё, душа моя, дыханье
Вся плоть твоя одежд небесных плеск
Но где-то среди нас и в содроганьи
Наш третий и невидимый как бес

октябрь 1972

НА БЕГСТВО ОРДЫН-НАЦОКИНА

Подале от красной суконной Москвы
к заветным масонским кормушкам,
от русских широт и частушек – увы! –
поближе к тирольским пастушкам...

Но счастье, что есть голова на плечах –
фантазий невиданных зодчий,
чтоб красное с белым сличать-различать,
Господь отверзает нам очи.

Нам власть подарила два дива земных –
свободу и радиоуши.
Чтоб славить дела и участвовать в них,
Господь созидает нам души.

В красивых бутылках растут мертвецы,
а в клетки – три монстра-кретина,
как дети в бутылках, так – в детях отцы:
цари, командармы, монахи, слепцы –
любезная многим картина.

Кого-то стошнило – ну что за беда!
Мы связаны кровью – не лыком.
Куда нам без вас – из утробы! – куда? –
Петь славу и мощь и величье труда –
в нордический край – безъязыким?

Безгласым – в простор италийских долин?
В Америку – нищим и сирым?
Оставьте мечтать и забудьте свой сплин,
доверьтесь своим командирам.

Смотрите, герои растут, как грибы.
Достанется старым и малым!
И каждый из нас, потрясая гробы,
под смерть зазвенит генералом!

октябрь 1972

Я ничего в себе не изменю,
не трону миром ветренные губы,
пройду по тёмным узким авеню,
как по лесам гуляют лесорубы.
Как по глазам гуляют чудеса
по Богом предначертанному кругу,
и как безумец слышит голоса,
я буду слушать недруга и друга.
Ещё незряч, ещё незримо мал,
я упаду в протянутые руки,
и съест меня безумный коновал
и две его смешливые подруги.

1974

Христос воскресый из мертвых
смертью смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав

Дрожит и тухнет на ветру огонёк молитвы и
смотрят вокруг как я спичкой неловко разжигаю его
и думают откуда ему знать нашего Бога а я думаю
откуда нам знать нашего Бога и тихо как вечная нить
в толще времён движется крестный ход – одним
дуновением рассекая головногое пространства
_____ так ветер летел вслед за Ним
и это он Ветер опрокинул столы изгнал торгующих из
храма

разбудил стражников стерегущих гроб

Его когда Он _____

воскресый из мертвых _____ вот уже и
не гаснет моя свечка и наконец они поняли нам не до
того не до неверия не до нас

_____ и сущим во гробех
все мы – Едино и: против Него

_____ живот даровав

1971

Господи Милостивый Господи милый
Бессчётны грехи мои перед Тобою
Всякий день распинаю Тебя или равнодушествую как Пилат
Всякий час предаю Тебя или сторонюсь как добро имущий
Пред Лицом Твоим занимаюсь блудом
Крестной мукой вопиют мне Взоры Твои
Любя ненавистное Любви творю и ненависть покрываю
лицемерием
Изолгалась дума и дух мой стонет о Тебе Господи
Тлеет плоть как незарытый труп и бежит душа моя
Слова Живого
Но зная Милость Твою припадаю к Тебе Господи
Помилуй меня
Да не будет мне оправданием страшное время моё но
Ты Один Господи с Преблагословенным Твоим Отцом
с Пресвятым и Животворящим Твоим Духом ныне и присно
и во веки веков

3-4 августа 1971

ИЗ КНИГИ
"ГРАЖДАНСКИЙ ЦИКЛ"

*– Что вы хотите сказать? – спросил он. – Думай, не думай – всё равно?
О. Савич. "Воображаемый собеседник"*

Вновь распушились перья диких мнений.
Не каждый понимает, что живёт
в невнятице российских становлений,
в клистире нуклеиновых кислот.

Безумствует, зовёт на состязанье
полночный петел, совопросник мой.
Его услуга веку – бормотанье,
тоска и слов безродных перегной.

И мне бы с ним на рабостях сцепиться,
завыть, когтями струны разорвать,
но так черна небесная темница,
что на странице нот не разобрать.

Кричи, пернатый, ведь твоё решенье,
наверно, в Книге Жизни учтено,
а мне милей наука утешенья:
что думай, что не думай – всё одно.

1974

СЕНТЯБРЬСКАЯ ОШИБКА

Мне тяжело, зверь, мне больно, бес.
Не смей глаза пускать по кругу,
Останови их скользкий блеск –
Отдам тебе себя в заслугу,
Свою роскошную болезнь, –
Приправь моим рассказом пищу.
Да ты, видать, и впрямь, как бес,
Чужого опыта не ищешь.

А я желал бы ни о чем
Перелистать с тобой и выпить,
Зажечь пред образом свечу
И слёзы на полу рассыпать,
Завиться в смех, затеять чай,
Заснуть нечаянно проснуться
И в полумраке невзначай
Лица мохнатого коснуться.

Но я забыл, что ум мохнат,
А тело смысла безволосо,
И обязал тебя стократ,
Коснувшись тела, как вопроса.

Вопрос, как зверя, побороть
Ты не сумел и ум наперчил.
Чадит свеча и пахнет плоть
как смерть – палёной гуттаперчей.

1974

СЕНТЯБРЬСКИЙ СОНЕТ

Внутри меня гуляет сквозняком
сентябрь со спелым яблоком в ладонях,
а время плодоносит дураком,
и всяк меня заговорит и тронет.

Откушав чаю, я иду смотреть,
как, намечтавшись всласть о самоваре,
заморские разгуливают твари,
всё внове им, как недоумку – смерть.

Иду себе, грызу суровый яблок,
а добрый Бог навьучивает облак,
и сивый дождь безумствует слегка,

но хорошо, что понял я сегодня,
как обойтись без Милости Господней
и убежать от злобного звонка.

сентябрь 1974

СЕНТЯБРЬСКОЕ ПРОВИДЕНИЕ

Все ангелы да злые сквозняки
шумят, бормочут, пачкают алфавит.
Слова плывут беспомощны, легки,
и ходом разговора леший правит.

Задумчив, остарожен и безлик,
стирает он последних смыслов грани,
но чудится ему иной язык –
глухих кровей и междометий брани.

Не брачный пир, но бранный вой и сечь,
не погребений тихая отрада,
во враний хор, но разделений меч
и бляежье зачумленного стада...

Непогребенные, да почуют слова,
чтоб вспомнили рассеянные ныне
Советника Орла и Друга Льва,
и Голос Вопиющего в пустыне!

сентябрь 1974

*Милый друг, я умираю,
от того, что был я честен...*
Н. Добролюбов

Он умирал от честности своей,
честней земли, верней самой могилы,
задиристый народный соловей,
певец Отчизны, злобной и унылой.
Другой от пули жизнь свою скончал,
а третий от любви всенародной.
Видать, не даром, первый пропищал,
второй варил, а третий навещал
народец Богу неугодный.
Вот и поём про годы золотые,
про то, как край выкраивали наш
венерины любовнички России
и повара революционных каш

сентябрь 1974

НАД ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ

В ночи, рассеянной благоуханным словом,
Господь, как тат, приходит и крадёт:
едва заплачешь над Авессаломом,
как молотилка по тебе пройдёт.

Пляши, Девора, празднуй новоселье,
играй, Варак, на струнах костяных! –
постылое, кровавое похмелье,
клопипные разводы вдоль стены.

Ликуй, Израиль, мы тебя узнали
в предстательстве ангеловидных звезд!
Мхом поросли бумажные скрижали,
разменянные на Сыновий Крест.

Ещё скажу одно, но напоследок –
Господень Род певцами заменит –
как поражал старух и малых деток
прелестный отрок и певец Давид.

сентябрь 1974

О, я-то понимаю, что игра – играй,
но с Богом в пустоту играть несносно,
м в наказание зеркальностью сплошной
душа твоя замкнётся в круге косном.

Весьма забавны фокусы зеркал,
но ты, мой друг, отнюдь не Леонардо.
К чему же сей восторг и пьяный бал
на плоскости расплесканного ада,

когда кружась в объятьях двойника
среди бесов невидимой когорты,
ты скажешь ему с видом знатока,
как делают словесные аборты.

сентябрь 1974

САЛЬЕРИ

Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу; и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел.

Бытие 4; 3-5

О, ты забыл, что музыка двулика,
и яд, хранимый в перстне мудреца,
вновь распознает: музыка – музýка,
а жертва Авеля – больная блажь Отца.

Я – каиново семя, и в смятеньи
завидую – словоубийца, вор,
но, Господи, и я – Твоё растенье,
Твой колос, Твоя жертва, Твой позор.

В кольце времён есть камень семигранный,
и чаша есть с небесного стола,
чтоб напоить народ богоизбранный,
не ведающий ни добра, ни зла.

О, ты забыл, что музыка двулика:
причуда, музыкальная зола.
Как благодать на благодать – музыка,
отрава на отраву снизошла.

сентябрь 1974

В сером кошмаре трамвайно-колбасной войны
век опаршивел, друг потерялся рублёвый.
Здесь даже дети, как черви, крупны, зелены,
словно весь мир – заколоченный ящик дубовый.

Всё это ясно, и незачем тут говорить,
как мне мечталось в Содоме, безгрешном и мерзком,
вечную память как чёрную форму носить,
трогать прохладный металл на бедре офицерском.

сентябрь 1974

ИЗ ЦИКЛА "HEIM UND
HERD"

Я проснулся в утробе китайского змея-года
В марте, в чьей-то крови, в каком-то коробе-граде,
В На свалке вечно гудящего трупозавода,
Где и нечего красть-то, а всё мельтешат: "Не укради".
А прикончив работу, сойдутся в вонючем клубе
Лузгать семечки да заводиться в злобе
И кричать друг другу: "Эй, ты-там, не-у– не убий.
В Ю-Эс-Эй кого-нибудь или где-нибудь – там, в Найроби"
От такой простоты душа воспаряется к горним
Сущностям, подохшим от голода в Гонолулу.
О, как хочется стать таким же черным, покорным,
Неподвластным слову, взгляду и дулу!
Чтобы жирный червь, вивясь в обжорной истоме,
Не глядел мне в глаза перед смертью так липко, долго
Я кормил бы собою его в посмертном доме
По велению сердца, объятого страстью долга.
Шелкопряд пятилеток, опарыш земного рая,
Он бы жрал бы и жрал меня до позывных конвульсий.
Я лежал бы и думал, от радости умирая
Хорошо еще то, что я только во сне проснулся.

1977

РАДУГА МИРА

И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и всякою плотью, которая на земле.

Бытие, 9:17.

Если по-русски сказать, это будет отчасти неверно.
Скажем темнее: мудрёное утро inferno
Вечера мудренее, как говорилось заране
Кто-то смеясь повторяет навязчивый план мирозданья
Первенец выполз на берег, косматый, в чешуйчатой маске
Из нуклеиновой тьмы – расточать свои странные ласк
Призракам дня. Властям. Началам и прочим,
Просто подвластным, простейшим, чернорабочим
Пьяного пекла и тем, кто – в который раз – снова
Гонит за стан очервлённую жизнь – Слово,
Дабы спасти обескровленный рай мига,
Чтобы на всех раскладушка – одна – книга
В каждой избе эта дыра сталась.
Тут-то не скажут ей: “Что же с тобой случилось?”

Впрочем, что тут мудрить? Просто закончили спячку.
Вот и шумят. Старик одевает собачку.

Сука визжит, что твоя героиня на пьянке.
Сонную дичь развозят мирные танки.
И словно сон, который еще снится,
В небе кричит Отчизны моей птица:
"Чуешь ли, Зверь? Помнишь ли то, это?..
Знаешь ли, Зверь, ты о конце света?"
Что она бредит? Что он, дурак, помнит?
Только что вышел сонный из всех комнат,
Только что начал жить и продолжать хочет,
Так и не кончит, пока он ниже не кончит.
Кстати сказать, это утро не без опасок:
Зыблется всё на боевых запасах.

Но разве кого, птица, смутят дроги?
Да, лишь от живых мне уносить ноги
Не надоело. Мертвые те в мире
Или за мир, если сказать шире.
Тех помянули, этих лишь тот вспомянет,
Кто угадает, куда это утро канет.
Я потому и боялся сказать неверно
Слово крутое, затем и темнил. Inferno –
Это сказал я себе, притворясь невеждой, –
Слово чужое, а значит есть и надежда
Слово Большое связать и слово это
Радугой мира, сияющей в знак запета
Овцам, кадаврам, подобным и не подобным.
Князю и Ною утопшим и допотопным.

В раю земном, где тернии да кочки,
вся прелесть в ключике и в заводном замочке.
Все десять завелись, ждет очереди малец –
чудесный, заводной, одиннадцатый палец,
и вот уже растет, как гений исполинский,
энергии земли собрав в пучок латинский.
Ключом кипит ударная работа.
Машинка такова, но страшно отчего-то...
Внимая трудодней апофеозу,
мне трудно увязать любовницу и Розу,
как трудно, побывав в обители святой,
вернуться в недра жизни заводной.

1976

НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

А начиналось все... Да с пьяных глаз –
Пора бы уж запомнить постараться.
И хмель не спас, и ангел нас не спас,
Затем что грех ему нагих касаться.

Он мог бы, право, в узел затянуть
Тот родничок, что не журчит, а брызжет,
Ту дырочку зашить, что влагой дышит,
Где столь легок, хотя и вязок, путь,

Забить уста кровавым черноземом,
Чтоб не шепталось, не смыкалось им,
Чтоб пошлый бред под кровом ледяным
Не завершался замогильным стоном.

Но было все напротив. Бес вешал
Не то чтобы насчет семьи и брака,
Наоборот. И наш алтарь трещал,
Как неудобный домик вурдалака,

Чем дальше в лес... Не хочется, а дров,
Хотя б для оправданья, нужно больше.

И вот их столько... как евреев в Польше
До возвращенья к пастбищам отцов.

А где конец? Он близко, вот он, вот
И химеричен, как сама химера.
Он в животе, который не живет,
И в ножичке кровавом акушера.

1977

ПОСЛЕ ЧАЯ

Вечерние часы перед столом.

А. Ахматова

Снег уже пожелтел и обтаял.

Г. Иванов

Слегка сквозит. Невидимым плющом
Покрыты стены. Разговор нескладен.
Роман хозяйке дома возвращен,
Слова перевелись, а чай прохладен.

Пора идти. Пора глядеть в окно,
А то – неровен час – издохнут кони
Иль вспомнится вчерашнее кино
О вырезанном синем эмбрионе.

И вот уже слетают на порог
Лоскутья снега, кожи или пены.
Под простынею дышит влажный мох,
И три недели вянут цикламены.

1979

В ГОСТЯХ

Легче легче летает зыбка
Словно слезы – потом улыбка
Божья Матерь иль чья-то матерь? –
Ты дитя мое Я твой Фатер –
Это Он прошептал мне в ухо
Но увы для чужого слуха

Закричала в ночи старуха
Зверь восстал по веленью нюха
Под ладонью скрипнула муха
У ребенка сказался жар
– Уходите же в самом деле!
Что пристали как озверели?
Вам легко играть на свирели
Но какой из нее навар?

– Ах зачем разводить торги нам?
Перестань Мельтешить княгиня
Все одно – что грешить с другими
Что со мною что без меня
Жизнь одна – в погремушке в пуле
Смерть цветет как сирень в июле

Что ж боишься ты черта в стуле
И того что мы все родня?

Легче легче летает зыбка
Но смычок утомлен а скрипка
Петь готова хоть до утра
Нет уж, полноте! Вот так нумер! –
Ваш ребенок кажется умер?
Мне как будто домой пора

1979

Пусть время облетает шелестя,
пусть на реснице у меня танкетка,
Я все еще невинное дитя –
смеюсь до слез и плачу не шутя,
И по грехам моим не плачет ветка.

А что – грехи? Когда им счет вести,
коль память коротка, как это лето?
забыл, как звали вас – Антуанетта?
Антоньо? – Помню только: ночь, баркетта,
венецианский праздник травести,

и мы смеялись... Но какой тут смех,
когда земля стонала и дымилась?
Заплакали и вдруг вкусили милость,
а там уж глядь и благодать явилась,
но оказалось – просто свальный грех.

Как персик на пружине вдруг расцвёл!
Раздался лязг лобзаний, плотский скрежет...
Баркетта накренилась – груз тяжёл

Но я не помню, кто в кого вошёл,
а Мнемозина и бровей не чешет.

Moralite? – Хорош зеркальный дом,
но если всех зеркал вам будет мало,
остановитесь на себе самом.
Один уже – Гоморра и Содом.
Спускайте на пол, Дети Карнавала!

1979

Я знаю, что бывает сдуру,
и как мой друг с ума сойдет:
устан хвалить литературу,
прервет словесную фигуру,
жену по шее полоснет.

Но что поделать? – Миг приязни –
цветок расцветший на крови.
И потому-то без боязни
я отдаюсь вседневной казни,
как вечным проискам любви.

Отдав концы, любовник стонет,
а дева шепчет: "Погоди".
Любовный стон – в предсмертном тонет,
и Князь Вражды сидит на троне
утех любовных посреди.

Властитель – не всегда убийца. –
Есть подданные, черт возьми!
В любой стране, в любой столице
всегда страшнее изумиться,
чем быть убиту в час резни!

1979

СТЫД-ЦЕНЗОР

Что стрекочет во мне, свербит,
что торопит меня упасть?
Ах, в дерьме поваляться всласть,
чтобы вспомнить корявый стыд.

Соблазнительно страшен он,
и кому бы поведать мне
оспяной криворотый сон,
хлам чердачный и сон во сне –
как безумный цензор смешон!

Все-то правит, все-то грозит,
а уйдет – не подаст руки,
цензор похоти, красный стыд,
тень слепой чекистской кишки –
этот вечный аппендицит!

1975?

Я так грешил, что сросся с этим псом,
кормлю беднягу розовым мяцом.
А что, и впрямь, припомнив детвору,
проделать в спелом яблоке дыру,
нарисовать картинку на окне
и поиграть с собою в тишине,
чтоб супротив живущий адмирал
морским биноклем вволю поиграл.
А ты, любезный, беребишь мое
мне самому неясное житье.
Что ж, разноси, но выйдет ерунда.
Молва-трава, разрыв да трын-балда.

1974

Я в комнатной скорлупке изнемог.
О, сетчатый покой, ячеистые строки!
Через мгновенье – нежилой чертог:
ершится пол, крошится потолок... –
трудолюбивы пчелы, недалеко.

Закрой глаза: сетчатка — та же сеть,
бумага в клетку – в писчих снах, в заботах.
Стираешь смысл, а слово не стереть.
Мне суждено – о, если б умереть! –
жить в этих предвоенных сотах.

1978

*– Что вы хотите сказать? – спросил он. – Думай, не думай – все равно?
О. Савич. "Воображаемый собеседник"*

Не то, чтобы страшно, а как-то темно,
как будто мне выбили глаз –
ну, словно меня пристрелили в кино,
а я позабыл и воскрес.

А зритель слепой на последнем ряду
соседку глухую трясет:
"Что там приключилось, мадам Какаду?"
Она ему: "Кажется, ад".

Случайное слово душа приплела.
Уместней ли будет здесь "лед"
Метафоры суть безнадежно гола.
К чему же ей желтый билет?

Ночь ночи она и бездонное дно,
безвласть гнетущая власть,
как будто убийца и жертва в одной
дыре, как младенцы, сошлись.

Их семья смешалось. Их общая мать –
субботняя Божья постель.
Премудрый Сирах все учил различать.
Не проще ли выпить коктейль?

1978

ПЕСЕНКА

Грехи наши – от юности, вина – от безначалия,
всё прочее – от тесноты, от жуткой тесноты.
Все обезьяньи зеркала, все страсти и так далее...
Все войны, все твои дела, все страхи, все кресты.

Когда же ты вернешься вспять, осатанев от ребуса,
услышишь голос Судии в зеркальной тишине:
"Ты помнишь, грешная душа, соборный дух троллейбуса?
Ты помнишь, Я тебя давил, и ты ответил Мне".

Тут время хитрость применить, как бы канавку сточную,
улику для отвода глаз, чтобы задобрить суд.
Скажи ему, ну, например... как был ты под Опочкою,
как встретил камень-девочку и отдал ей салют.

Она винулась пред тобой, смыкалась-размыкалась,
просила камень разомкнуть, но ты ее не спас,
когда кортеж твой в Псков летел на поклоненье Фаллосу –
хорошая такая есть традиция у нас.

Вот так, штришок один, другой... – Глядишь, он и развеется.
"Всё, – скажет, – всё. Я позабыл. Не помню ни шиша".
Похерится твоя вина в летучих волнах мелоса,
вплетется в общий лейтмотив певучая душа.

Завоеет, зашарашится, запрыскает, запорскает.
(Cogito – это, кажется, французская болезнь?)
Грехи наши – вчерашний день, вина – змея заморская.
От избытка благости тучнеет наша песнь.

1978

РИСУНОК

Утро мудреное вечера мудренее.
Тема Inferno: старик одевает собачку.
Рай нуклеиновый чавкает, словно вагина
бляди стареющей, бешеной пруклятой суки.
Вот и Начало: Первенец выполз на берег,
розовый, грузный – Морок в чешуйчатой маске,
слышите, он говорит, считает, тянет резину
люминесцентного дня – в воздухе пахнет паленым.
Радуга Мира над нами: дивная хитрость Господня:
вольно нам жить и не бояться Потопа!
Вечер мудреный: сука в зеленых чулочках
воет от злобы черной, нечеловечьей.

1978

СТЕАРИНОВАЯ ЭЛЕГИЯ

Животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами.

*Х. Л. Борхес**

Свет сплеховал, и я зажег свечу
(такое грех выдумывать нарочно:
все наши вечера не стоят свеч),
зажег свечу, а в комнате соседней
сестра Франциска", смертная волна,
прильнув к постели, ласково шуршала,
лизала руки матери моей
(врач сделал ей укол; она уснула),
лизала руки, значит, и шептала.

* Цит. по книге М. Фуко "Слова и вещи" (М., 1977)

Я слышал – это были имена – какой-то вздор!
Я слышал: Гоголь, Пушкин,
Бах (ну, к чему бы это?), Демосфен
и некая непрошенная Фекла,
Хемингуэй, Маршак, Аврора (крейсер?),
царь Николай, как будто бы, Второй,
Ахматова, Распутин, Альбертина,
Лолита, Чернышевский, Хо Ши Мин,
(и, если вам еще не так постыла
вся эта каша, я продолжу) – Sartre,
Ягода, Jonny Walker, Солженицын,
Тутанхамон & Сотрану, Басё,
Роз де Масэ, Лойола, Гонорея,
Параша, Риголетто и Му-Му...
Возможно, кое-что я не расслышал.
Она читала, словно торопилась
в другие страны, к новым берегам.
К тому же, ее шепот был так тих!
И все слова, журча, переливались
одно в другое... Я позвал ее.
Она была глуха – скажи на милость! –
И столь слепа, что не могла найти
щелей, чтоб в ночь слепую просочиться,
пришлось для бедной дверцу отворить.
Она меж ног моих прошелестела
и даже не задела мимоходом.
Одна беда, что свечку вдруг задуло,
но я был рад, что мать моя жива.

ноябрь 1977

СТИХОТВОРЕНИЯ
1974-1982

ЭСКИЗЫ ДЕТСТВА

Маленькая поэма

I

По улице, где каменеет жуть,
Я прохожу, и мой недолог путь.
Направо – сад, налево – сад, собор.
Чуть впереди домов нестройный хор,
Нестройный хор бессвязных темных строф,
Там за углом – еще полста шагов –
Стоит мой дом у детства на краю,
В нем комната, в которой я стою.
Вокруг меня стоит несносный смрад,
И я уйти оттуда был бы рад,
Но не могу... Стою, как в странном сне.
(А это ведь и впрямь приснилось мне).
Полночный город, Я миную сад,
И вот мой дом. И нет пути назад.
Я захворал, и в темных недрах сна
Привиделась мне яма без окна,
Как родинка на серой коже дня –
Та комната, в которой нет меня.

II

Здесь был когда-то графский туалет.
Теперь живет семья, и денег нет.
Есть маленькая печь, но мало дров,
И потому ребенок нездоров.
Да, денег нет (увы, страна бедна,
Уж восемь лет, как кончилась война.
Убитых много. Некого сажать.
И за три года надо сделать пять).
Здесь нет цветов, и каждый день – свой бред.
То расцветает ругани букет,
То рваное пальто украл сосед,
То слишком долго занят туалет,
То чья-то смерть, то просто страх и хмарь.
Водопровод гудит как пономарь,
А рядом в кухне разговор идет:
Там агитатор чай с соседкой пьет
И в паузе за приказной строкой
Колено жмет ей потною рукой.

III

На следующее утро – сполох, плач.
Опять война? Да нет, издох палач,
Китайский благодетель, демиург:
Всех уморил и сам в могилу – юрк!
О чем же плачут, о каком рожне?
О том, что новизна еще страшней?
("Знать, отравили все-таки... Беда...")
И погребальный гимн поет вода:
Memento mori, коммунальный крот,

Начни сначала, задом наперед.
Подмочен хвост, забит землю рот.
Как ни крутись, а все – наоборот.
Не мучься и тебе придет черед,
Созданье нуклеиновых кислот.
Копнешь туда – вода, сюда – вода,
Все – из воды и снова – в Никуда.
Сочти на пальцах, чем ты жив сейчас:
Постель, жена, ребенок, страх, лабаз.

IV

Вот пентаграмма счастья: унитаз,
Глазок соседа, страх, жена, лабаз.
Наследственный пентакль – источник сил
Ушедший гений миру подарил.
То каменщика верная звезда:
Пять стрелочек в Ничто и в Никуда.
Распятая на пять сторон страна
Блаженна и сама себе равна.
Опять бредет по пустыни жена,
Не то чтобы слепа или пьяна,
Но памяти и рода лишена,
Сама себе довольна и вольна.
Зачем ей шить, вязать, рожать, варить?
Ее призванье – чудеса творить.
То не жена, а благодать сама,
Своих слепцов бродячая тюрьма,
Глухонемых заговоривший рот:
Они молчат, она себе – поет.

Какой-то вздор! Куда меня несет?
Я начал с детства, хворостей, невзгод...
Да и вообще-то, кто меня просил?
С чего бы это я з а г о в о р и л?
Ну, это ясно: я опять простыл,
А словоблудье требует не сил,
Не вдохновенья – хвори, забытья...
Опять пошел... Куда же это я?
Вот так пишу и сам себе дивлюсь.
Хотя бы вкус какой... Да что тут вкус?
Начнешь с печенья нежного на вкус,
А кончишь чем, как говорил француз?
Вот так и я по правилу отцов
Поджег себя со всех пяти концов,
А после — тут уж ни при чем оне –
От слабости пять раз спустил во сне.
Так жирно кончить за какой-то час!
Но это, извините, не для Вас.

1978

ПРОЩАНИЕ

Маша лежит на столе.

Ф. Достоевский

Из всей муры, завьюженной быльем,
молю одно граненое словцо,
но странный луч играет с хрусталем,
как Божий Сын с невидимым Отцом.
А я всё слушал ночи напролет,
когда душа и без того чудит,
что византийский дятел пропоет,
как азиатский ворон прокричит.

О, старица моих недетских дней,
монашенка слепой души моей,
безумная, но полная забот,
чертей прогонит, а потом умрет,
и глядь уж на столе – какая дичь! –
где пиршества кружил вороний клич,
софийствовали, бляяли, клялись
и услаждались лепотою риз.

Что разуместь? Летает лист и бес,
минуты моросят, снуют дожди;
усовершили изголовьем крест
монгольские титаны и вожди,
невнятицу небес и соль земли
супружескою парой развели
и по ошибке – как им бес велел –
сожрали труп, лежавший на столе.

сентябрь 1974

Когда на плоскости просторной
снег расцветет и ворон черный
забудет, что земля кругла,
крыло озябшее расправит
и зрак невидящий уставит,
припомнив давние дела, –
я вспомню, что сознанья иго –
мною не прочитанная книга,
укрытая под сенью слов,
трава под простыней хрустящей,
над облаком – не настоящий
Бог – Демиург и древний птицелов
Но близко время полнолуны,
а с ним – внезапное безумье
и тут уже не различить
где Авраам, где ворон черный,
и как Иуда, друг проворный,
попав в прореху слов,
связал событий нить.
Безумное укроют слово,

дабы древесные основы
вновь словесами обросли.
Плоды созрели, облетели смыслы,
но крепко держится событий коромысло
на необжитых полюсах земли.

сентябрь 1974

Когда гвардейская девица пересечет ночную тьму,
когда полночный кровопийца ее утащит в темный лес,
открою я сундук дубовый, перо гусиное возьму,
и погасив событий свечи, усядусь в черный мерседес.

Что мне роскошные улады, век неподвижно-золотой?
Я пригубил жестокий уксус народных чаяний и мук.
Теперь вовеки не расстанусь я с современностью крутой,
и пусть ломают ноги, руки – недуг народа – мой недуг.

Ах, в самом деле, в самом деле, есть смысл на ниточке висеть
и пить, к народу приобщаясь, подкрашенную злую кровь.
Господь усмотрит жертву мира, хоть сатана раскинул сеть,
и упадет небесный город на мать российских городов.

октябрь 1974

Больного времени изгой,
я тешусь шуткой заводной,
где Сам играет сам с собой
на нежной сфере голубой.

Сгустился космос за спиной,
пентаклем осенился Гад,
и крест Медведицы Большой*
узрел в ночи иерофант.

Обрадовался, поспешив
облечь свой ум в хитон святой,
а шарик вертится, и жив
Сам с необрезанной душой.

1975

* "...в последние и страшные времена узреют знамение: ковш Большой Медведицы обратится в крест". (Из списков "Изумрудной скрижали" Гермеса Трисмегиста. См. "Аркани Таро" Шмакова)

СКЛАДЕНЬ

1. Я подарю тебе прелестные черты,
о, дева в яблоневом дыме,
и совлеку одежды иже с ними,
до костяной означив простоты.

О царственное слово гончара,
явившее вино прокисших смыслов!
Не лучше ль пить слез трезвенное сусло
и умирать с утра и до утра?

2. Любимый! Даже если мы умрем,
что умирает? Время, тень, песок.
Доколе малый будет умален?
До Рождества, как промолчал мне Бог.

Последняя песчинка, капля страха
янтарная... О насекомый миг!...
И смертну нить сучит больная пряжа
до воскресения – малейших сих.

3. Могильный островок. Соль в земляной солонке,
крупницы соли в рясах земляных.

Изящество поста, изысканный и тонкий
над трапезой благословенный стих.

Я там умру в июле на молебне
до времени, когда воскреснет плоть
с трубою ангельской. Что может быть целебней
Господней крови, разве сам Господь!

1975

1

Посреди тягучих бредней.
черный патефон стоит.
Голос пифии последней
шепчет, щелкает, шипит.

Таает в смерти безымянной,
замыкается в тоске
Дом Фонтанный, храм туманный
слов дремучих на песке.

1975

В слове, тобою омоло́нном, я оживу –
дымом, обыденкой, пеплом осеннего сада,
утренним звоном, связавшим коня и траву,
скорбным звеном родового и злого распада.

В ссыльном вагоне под жалобным небом твоим,
чтобы в глуши, в тесноте, между смехом и страхом
легкий хаос сотворить на бумаге, засим
в смерти твоей бессловесным рассыпаться прахом.

Посох осенний, как кранахов рог изобилья,
ждет иудея Церера, германская дочь –
пряжа горит, и глаза как бессонные крылья
мыши, летящей на белое в черную ночь.

октябрь 1974

Я как тень меж собой и вами.
Что за блажь кутить с мертвецами,
с окольцованными словами
слово в прошлое посылать?
Не сочтите, что казнь жестока,
в третий раз поклонюсь Востоку:
окунуть в купельное око,
чтобы мертвых не узнавать...

1975

Смотри, слепое слово бродит,
но рыба утаит глагол.
Где спелый ум на крест восходит
Отечество поет щегол.

И тело, превращаясь в розу,
забыв добро, не помнит зла.
Лев попросил извлечь занозу,
синица море подожгла.

апрель 1975

ХОРОВОД ДИОНИСА

В военном космосе – скажите-ка на милость! –
слепая бабочка и вера заблудилась,
в военном хороводе чисел-слов –
ничтожно малая душа или число.

Здесь все поют, одной объаты думой, –
невидима, но нерушима связь –
звезда крылатая, орел и лев угрюмый,
с генералиссимусом-Эросом кружась.

Лихие музы среди буйных танцев
вином любви подпаивают старцев,
чтоб возбудить хотя бы в трех иль двух
воинственный и непреклонный дух.

Всё кружится, к Единому взывая,
хор ангельский – все ближе, все ясней,
и я кружусь, но бабочка больная
мутит мне совесть состраданьем к ней.

Умри же, бедная, как умирает жалость,
расхожая порхающая дрянь,
и, офицерской формой не смущаясь,
Афиной всенародною восстань!

май 1975

ЭМИГРАНТ

У лукоморья дуб зеленый...

А. С. Пушкин

Послушай, что ты говоришь?
За делом, на войне не тужат.
Лишь крупный зверь о Славе служит,
а мелкий бес летит в Париж.

Там Витебском расписан дом,
Французский день жар-птицей начат,
и два любовника маячат
в небесной зыбке под кустом

последних звезд, и век горчит.
А там, где горечь, нет соблазна.
Тоска безглаза, безопасна,
и Марсельеза не звучит.

От страха забывает имя
Булонский лес перед грозой,
и плачет церковкой слезой
американец-проходимец.

Лес окропился звоном слез,
но раком съеден луг зеленый;
лежит астматик утомленный
в букетах буржуазных грез.

Там мир безумней и косней,
и некогда молить о Даре.
По уголкам сознаний шарит,
крутятся, ирландское пенсне.

Там по ночам мурлычет ужас,
кот заплутавшихся грехов,
среди бесчисленных стихов,
жоржеток, монплезиоров, кружев...

А нам под сенью двух столиц
не надоело жить с опаской, –
питаться лаской да указкой
рязанско-энских кружевниц.

Да, здесь такая благодать!
Да что ты говоришь? Послушай...
О, как неизреченны души,
утраченные, словно ять.

июнь 1975

Убить красоту – когда любуются
цветами, закричать: "Начальник идет!"
Из китайской премудрости

Нет, не Фьоренца золотая
нас папской роскошью манит –
Савонарола из Китая
железным пальчиком грозит.

О век — полуистлевший остов!...
Но я, признаться, не о том –
ведь красоту убить так просто,
испортив воздух за столом.

Русь избежит стыда и плена,
ей красоты не занимать –
начнет российская Елена
большие ноги бинтовать.

Пока Европа спит и бредит,
случается то там, то тут:
Москва горит, начальник едет,
цветы безумные цветут.

1975

Свидетели моих печальных оргий,
поднимем, други, голубую чушь ...
бокал эйфории за красные восторги,
за черную металлургию душ!

Поднимем небо над дремучим лесом.
Пусть ухаает кремлевская сова,
пусть старичок колдует над железом
и говорит французские слова.

Не для того ведь мы живем сегодня,
чтоб пригласить друзей на враний пир.
Да будет пищей нам елей субботний,
предсмертный завтрак и воскресный мир.

июнь 1975

СТАНСЫ

Аз есмь червь, а не человек

I

Я укорял себя: мой бред,
я говорил, порочен
меж теми, кто угрюм и сед,
упрям и сердцем точен.

И я отправил блажь свою
на Почту Безымянных,
но вот, я все еще стою
среди столбов песчаных.

А те, кто предо мной стоял,
когда я плыл в эфире,
безумства выпили фиал
и вспомнили о мире.

Так, в озабоченном краю
в бегах и разговорах
открыли будущность свою,
как открывают норы.

Закрыта будущность моя,
но среди прочих знаков
ты возлюбил узор червя,
блаженный сын Иаков.

Мольба смиренного слепца –
благоденний нива –
для Жизнедавца и Ловца
отменная пожива.

Ты весь у Господа в руке,
к сетям словесных нитей.
О, Червь на огненном крючке,
Господь Мой и Спаситель!

II

Поговори со мной душа,
вина, как видишь, мало;
перед очами два шиша
и мрака до отвала.

"Я жертва, я овца..." Постой,
к чему сие безумство,
когда влечет плодов настоек
и века вольнодумство?

"Я жертва, я овца..." Постой,
но жертвенности мало,
перед очами век пустой
и мрака до отвала.

"Я жертва, я овца..." Ступай
в свое овечье стадо,

сердечный мрак не вспоминай,
овце ума не надо.

"Я вспоминаю имена,
которыми отныне
изумлена, обличена
Мариєю в пустыне".

Ты вспоминаешь имена
своих овец, не боле.
Смотри же, пьяная страна –
зверь в роковой неволе.

"И я невольница чуть-чуть –
от Господа – опала,
но Жертвой обозначен путь
и света до отвала".

Отвальную, теперь, конец:
вина нам не хватило.

"О, Боже! Как красив венец,
как славно все что было..."

– Ступай, безумица, ступай
в свое овечье стадо,
быть может, вспомнишь невзначай...
Постой, душа. Не надо.

III

Авессалом, бунтарь, орех –
повис самоубийца,
я среди выпренности всех
узнал тебя, девица.

К чему, Мария, средь зверей
ты плачешь и бормочешь?
Есфирь, душа души моей,
проси, чего ты хочешь!

Душа моя, я только царь,
раб вековой гордыни,
проси лазурь и киноварь...
Я только раб отныне

Среди царей, рабов, зверей,
полудня, дня и ночи...
Юдифь, душа души моей,
проси, чего ты хочешь!

"Я попрошу души твоей".
– Душа моя, не боле?
"Душа твоя – жильё зверей,
зверь – в роковой неволе"

– Изволь, я раб твой. "Не спеши,
признания довольно.
Я знаю прелести души,
но рабство – добровольно".

– Ты не девица – вепрь и муж,
и в сговоре вас — трое...
"Люблю тебя, бесценный муж,
усни, я все устрою.

Ты прав, любимый мой, есть течь
в словах моих, не следуй
их простоте... Но где мой меч?
Заснул. Пора. Победа".

IV

Пиит, смеяться не спеши:
сей плод созрел для корма,
и лишь за множеством души
мне не достало формы.

Усни, подумай полчаса,
как славу петь отчизне,
поют ли наши голоса,
и хватит ли нам жизни?

Сквозь сети слов и Майю лет,
сквозь маяту событий
я вижу брошенный билет
в далекий New York city.

Я вижу земляных червей,
где всякий одинаков,
но щедр от Благости Твоей
блаженный червь Иаков!

1975

Н.Н.

В этом городе на лобном месте
тук припрятанный зарыт,
в этом городе, собравшись вместе,
мы искали ось или зенит:
рыжий пёс Трезор и крошка Цахес,
бледный Малакия, сукин сын,
и ловивший звёзды, словно ахи,
злой пиит и буйный Арлекин.
Словно мухи, нежно, деловито
мы искали первую любовь,
атомы всевидца Демокрита, –
чтоб, столкнувшись, не встречаться вновь.
Всё это не больно и не странно
и совсем знакомо для души.
Только память, как гофманиана,
зазвучит в кладбищенской тиши,
и придут, и встанут в отдаленьи,
и падут перед собою ниц
пять желаний, пять светоявлений,
пятеро забывчивых убийц.

1975

Я всё думаю ни о ком –
не о том, с чем душа простилась –
это тело переместилось
как бокал с круговым вином.

Важно только найти предлог,
чтоб явиться к себе с повинной.
С нежным дымом, как с пуповиной,
связан помысла голубок.

И уж некуда вновь бежать,
коль душа призывает судий...
Разве важно в каком сосуде
Божий дар нам не удержать?

Некий брат на моей оси
миллионную розу курит
и роняет щепотку дури –
Душе Святой, спеши, спаси...

1975

ДВА РОМАНСА

1

Как китайской иглою меня укололи –
на французский манер: засветилась картина
на стене моей спальни, на холсте моей боли...
Я пирожных сегодня не ел, Альбертина.

Тот, кто ел их, с рожденья со мною в разлуке,
пред кремлёвской стеной тенью ласковой длится,
прячет в тёплую смерть воробьиные руки
от свинцового взора любимой столицы.

Наша боль не о том, а о чём – не признаться.
Вспоминай, как пришлось: перемешаны фанты.
Мнемозина не станет в дверях извиняться.
Дни твои, голубок, – голубые пуанты.

Не пора ли забыть о навязчивом вздоре?
Полночь. В памяти стынет невесомое древо.
Выпью крепкого чаю от полуночной хвори.
Боже, горечь какая! Что ты сделала, Ева?

Уже как будто ветер тело носит –
сорвёт, закрутит и задует в щель,
а Мнемозина так же ждёт и просит
честного бисера на бархатный кошель.

Уж эти просьбы – крики да угрозы,
как изумруды в чёрных волосах.
Как злые раны, ей дымились розы
и слово умирало на устах.

Но страшно думать: в ярости похмельной,
сплетая наспех золотую ложь,
ты, как Арахна, в нежной богадельне
в беспаметстве повиснешь и умрёшь.

Другая мне споёт, как вечность тает,
последние мгновенья вороша,
как в новом небе с птенчиком играет
моя десятилетняя душа.

1975

Что смущаться, брат, скоморох, стрнножитель и ратник?
От случайных уколов ещё далеко до гвоздей.
Ради двух или трёх сохранится преступный курятник,
твердолобая Русь сбережёт пустотелых вождей.

Если слово такое тебе как настой на полыни –
уравняй-ка, попробуй, – секунду, песчинку, звезду,
помяни ради всех, как когда-то давно и отныне
Сотворившего всё, как раба, пригвоздивши к кресту.

Там, где двое блажат, третий слушает спелый последок,
и, вкусив, не заметит, как время замкнётся кольцом.
Натрудившись как вол, запряжённый в ярмо пятилеток,
обернётся страна скоморошым и светлым лицом.

Там, где смерть за бесценок, где время светлей и опасней,
ренессансный уродец забился в железных когтях,
и ребячьим дымком растворилась постылая басня
о бессмысленном турке, когда-то убившем дитя.

1975

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

Я так боюсь рыдания Аонид,
тумана, звона и зиянья.
О. Мандельштам

Я так боюсь разбросанной пшеницы,
пустой ладьи, плывущей по реке...
Смерть не страшна, но чуден лик убийцы:
дробь мелкая в изменчивом зрачке.

Мне так чужда воскресная отрада,
Чудная блажь рабочего осла...
Душа бежит, как пастырь, бросив стадо,
Влекомая движением Числа.

Как сладко жить под числовою манной
Прощенным сыном в закромах Отца...
А здесь всё тот же снег рабочий, странный,
и ворон, стерегущий мертвеца.

Сплошное обращенье чумных, чёрных,
рабочих правд и оборотней их –
томление событий обречённых
и мреянье отобразов больных.

1976

Мой друг беспечный, ты шалишь,
ребёнок с погремушкой-рюмкой,
ты слышишь? – сладостная мышь
растёт в груди германской чумкой.

Увы, мы не сойдём с ума
от этой ницшеанской дозы.
Der Winter, русская зима
нас встретит трезвенным морозом.

И росс нам щедро поднесёт
яйцо богини белокурой,
жар-птицы, куропатки, дуры
боман и пьяный скифский мёд.

И забормочет партизан
своим бессменным пулемётом,
идёт посмертная охота,
двойной орёл кружит в глазах.

Вий поджидает за углом,
жандарм течёт за нами следом.
Пентакль в содружестве с орлом –
не то что наш паук-perpetuum.

Оставь надежду – так верней
за новым призраком вернёшься.
Средь геральдических теней
всласть не умрёшь и не упьёшься.

Незримое, как тать, грядёт
Иванушкой крутого чуда,
и винопийца, как Иуда,
ненужные гроши сочтёт.

январь 1976

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

Всё перепутаю – и если не солгу,
как праведник явлюсь к Тебе с повинной –
малину спелую в чернеющем снегу
и почтаря – с надеждой голубиной.

Что за дела? – от Одного ль, от Двух
исходит Он, вас как пшеницу сея?..
Всё перепутал я: и тополиный пух –
с руном заветным Агнца, Одиссея...

1976

О, наши жёны страстны и крылаты! –
Барышник ловит свадебных щеглов. –
Но что скажу я? Все слова запяты.
Освободи их, Боже, от силков!

Последнее, отчаянное – первым –
Для первого, вкусившего тщету,
Чтоб на лугу пред молчаливым Ермом
Они явили тела наготу.

И в нежной ласке, сопряжённой с болью,
Звучала Явь: их царственная мать –
София танцевала в звёздном поле,
Лия веселье, мир и благодать.

1976

Как странная тень,
всегда при дверях
maison de sante,
где умер мой страх,

где умер я сам
с червлённым лицом.
Мне выдали там
колпак с бубенцом.

Жалей – не жалей –
избавились мы
от милости сей
курьёзной тюрьмы,

от серых скорбей,
долгов, похорон...
Спасибо тебе,
святой Симеон.

1976

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА: ЧЕТКИ

А рыбы слушают, и я смотрю
на птичьи плавники, на рыбы уши;
склонилось время к деве-Сентябрю,
и – к Деве прислонились души.

Небесный Сын пронзил меня мечом,
и я молчу, чужой венчаясь славой...
Ещё чть-чуть, и к Деве на плечо
опустится щегол и лист кровавый,

и злоба чёрная, и этот длинный мир,
пропятаый до конца последней бездны,
и дух зимы – серебряный ампир,
а по весне деревья станут слезны...

Но кто обрящет золотую нить –
по узелкам прочтёт благое слово
о том, как Деву-Слово голубить
у Голубя за пазухой, и снова –

и узелок, и Слово повторить.

1976

ЧИТАЯ ЕЗДРУ

Страх иудейских войн и путаницы кровей
в устах твоих, Ездра.

Не потому ли вечерю любви
вкушали мы вчера?

Не потому ли пели век бессрочный
среди могил,
где царский ручеёк от пули точной
в КПСС вступил?

Где пятилетку тянет одногодка,
крот-шелкопряд,
и кровоточит время, как сухотка,
у Царских Врат.

Кликуша, бес и Хронос непокорный –
всё у ворот.
Великий Кормчий хлеб нерукотворный
нам раздаёт.

Не все ли мы погибшие у Бога –
псы, палачи?

Сказал Господь Ездre: Открой немного,
а прочее – смолчи.

1976

Я не знаю, откуда пришёл и куда Он уходит,
каждый год зажигая сентябрь – семисвечник багряный –
так еврей-бессеребрянник кистью волшебною водит,
а потом умирает – и в славе своей безымянный.

И подобием страшным замлечного дивного Духа
золотистым обман воцаряется словом расхожим,
вновь касается острого зренья и терпкого слуха,
теплой твари словесной, золотистой и розовой кожи.

От осеннего блуда, от простой и слепой пятерицы
разоряется время и осень, и семя, и сени,
так немотствует инок в сетях роковой огневицы,
неподвижной, прелестной, осенней мечтательной лени.

То – мирская отрада, мгновение равностоянья,
равнобедренность слов, параллели имён и созвездий,
разорение Розы, геометрия Иня и Яна,
богословские споры, петушинные зори поместий.

То мгновение мира: желтизна, белизна и краснуха,
увенчание праха знак немоты – отрезание уха,
возрождение в прах и восторг бичевания праха.

Здравствуй, осень! Вчера мы с тобой полагали причины
адюльтера – без века, без Духа, без Мужа.

Здравствуй, сладостный миг жизнестойкой и терпкой личины,
безоружного слова вороний безрадостный ужин.

август 1976

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

Полно мне тужиться, тяжбу с собой заводить...
Славно плывём мы, и много ли нужно ума
в царстве Протея? и надо ли связывать нить
тонкого смысла с летейской волною письма?

Только бы музыкой, музыкой заморозить
муку-сестрицу, сварливую древнюю спесь.
В вальсе русалосьем скучно бедняжке кружить,
в серых зрачках её жёлтая кроется месть.

Кличет Асклепия, просит флакончик вранья,
чёрной дуранды газетного хлебца чуть-чуть.
А за кормою то жизнь, то жена, то змея –
шопенианы бесцельной болтливая муть.

О, дурачьё! Как случилось, что нам невдомёк
кто мы, откуда, зачем мы плывём в пустоту?
Странные вести принёс нам опять голубок
с вечно зелёной масличной неправдой во рту.

август 1976

На высоте российского обмана
кружилась птица празднично и пьяно,
людская дичь давно приелась ей.
Что там внизу – проказа иль столица?
Кто там добреет, махровеет, злится?
Избави меня, Боже, от кровей.

Во сне, венчаясь кругом ежегодным,
я опадал листвой, чтоб стать несходным
подобием безумца-воробья,
в невидимые веки протяженным, –
окаменеть каким-нибудь блаженным
за станом очумевшего вранья.

сентябрь 1976

ПУТЕШЕСТВИЕ

Душе, моя, что спишь? Воспрянь, оденься,
привыкни к первозданному труду
творенья слов... О, лепет без младенства,
дурь без вина, parole*... Мы – в аду

зелёных смыслов и созревшей скверны,
где Флора нам являет чудеса...
Ваш труп, Ти Эс, уже созрел, наверно,
над Темзой, где так страшно воскресать?

А впрочем, избежим пустых вопросов:
перо скрипит и слов – невпроворот...
Ваш меч, Бретон, уже расцвёл как посох
в стране, где Сам Себя не узнаёт?

Там, наверху, всё воедино слито,
а здесь вся чертовщина – заодно:
Жан – студиозус Ареопагита –
нам крутит запоздалое кино

* Parole – слово (итал.)

всё об одном: как отыскать подругу,
как стать поэтом, голубем, цветком...
Осточертело. Я летел по кругу
в то время как Вергилий шёл пешком,

в то время, когда ткались договоры –
совсем как приговоры – ни о Ком –
двух демиургов европейской флоры,
писателей с гремучим языком,

двух филинов постевропейской ночи,
в то время как божественно цвела
в кругу своих последних одиночеств
воспитанница Царского Села.

сё вспоминала тётя: тени, даты –
в плюще, в плаще, в кровавом домино...
Другие разобратся будут рады
кто, где да в чём... а впрочем, всё равно,

parole... Мы пьяны. Persona Grata
зовёт меня... Я думаю, уволь,
и намекаю: "Как-то поздновато...
Который час?" Он отвечает: "Ноль".

Знак всех времён. Геральдика Отчизны.
Ноль – это ноль и больше ничего.
Густая плесень Флоры, лепет жизни
И фауны глухое торжество.

июль 1976

THE VOICE OF AMERICA

В. М.

Я ухом к ящику преник,
где, убежав приличий,
мой неприкаянный двойник
в Америке химичит.

Легко ему меня пенять,
слепца и казнокрада.
Сам леший не сумел познать
все тайны азиата.

А кто проник в глухой язык
живой газетной плоти,
того пленил лесной родник,
журчащий Аристотель.

Здесь производится приём
тончайшей паутины.
И мы сквозь тени узнаём
весёлые крестины:

попа с ватрушкой-попадью,
купца на венском стуле,
слепца с гармонью заводной –
дивой жужжащий улей.

Младенец мал и многоног,
но тут уж не до вкуса.
Ещё годок – Исайя-Блок
узрит в нём Иисуса.

А после, как в смешном кино,
над телом неотпетым
раскрутится веретено
Кромешного Завета.

О, наш народ умеет жить
среди бастионов дачных
и нежно куколку хранить
под сенью слов прозрачных.

А ты, сбежавший от суда,
американский Митя,
почаще приезжай сюда
крутить двойные нити.

Я не питал к тебе любви,
и наша связь непрочна,
но что-то есть в твоей крови
стахановское... точно.

1976

Чуть солей, чуть кровей – придушить и размять,
трижды плюнуть на Запад, в мурло Велиарово...
Ах, скажи мне, моя Голубиная Мать,
кто варил это страшное нежное варево?

Кто варил – тому здесь уже больше не быть:
он варить-то сварил, а расхлёбывать – ворону.
Почему же так страшно мне переходить
на ту милую, дальнюю, праздную сторону?

Мне и Кесарь не друг, мне и слов самосад –
сорных роз – опостылел, как вымысел Родины.
Я и знать не хочу, как Центрального Пса
бужет время топить в его красной блевотине.

В Лете, где растворяется времени нить,
смерть вторая к душе клубком пены подкатится.
Потому так и страшно себя растворить
и увидеть червлённые буквы Акафиста.

Что не слышало Ухо – не скажет Язык –
так от Века Иного до Времени Оного.

Для того, чтобы выучить эти Азы,
надо верить калёным щипцам игемоновым.

Знать, и там ордена, как и здесь – так чего ж
ты, Психушка моя, притворяешься дурою?
Обточи своё тело о жертвенный нож
и прикрой, Потаскуха, себя амбразурю.

А потом поднимись и ступай, не скорбя
ни о чём, говоря: так и надо, и надо нам.
Андрогиново племя приветит тебя
недомыслимым словом, забвеньем и ладаном.

май-июнь 1977

Если б нас впопыхах не пришли заране,
не подняли б – не бросили оземь – с земли,
мы росли бы с тобою в развёрнутой ране
на глазах шелудивой народной семьи.

Мы метали бы бисер в укромное место,
мы познали бы сладость семейных забот,
мы воспели бы Честь или прелесть инцеста,
зуд Отваги и Славы мерцающий плод.

Наши дети в плену азиатской заразы,
ошалев от парижских и гамбургских вин,
развивали бы наши пути-метастазы,
низводящие в нежный чахоточный сплин.

Всё, что было с другими, случилось бы с нами, –
так и кровь голубая, отчаясь, кружит.
Кронос с Хроносом встарь разменялись чинами:
первый сечкою машет, второй – потрошит.

Видишь, нам повезло: так незримо, так тихо
мы вступили в потешную эту игру –
неразумнее снега и сказочней лиха,
как слова, неподвластные даже перу.

В нас и буквы, смеясь, поменялись местами,
как священники-птицы вокруг Алтаря.
О, как страшен и вечен Играющий нами!..
Тут молчание: нас порешили не зря.

Тут терпение, милость, молочное братство...
Полежим да рассудим в опричной земле,
как без рук и без ног устоять, удержаться
на весёлом, завещанном нам киселе.

март 1977

ЖАЛОБА

Не убиваем мы, но пишем – Боже мой!
а кто-то убивает, словно пишет,
и Божий Дух над странною страной
не знаю где, не знаю как, но дышит,
кружит и причитает надо мной.

Век-паучок сплетает суету,
и шаровая кружится могила,
но Моисей уходит в темноту
и вновь выходит, осиянный силой
спасительной, а мне неумогу

на этом свете. Если бы на том –
оставить века призрачную мету!
В постылый век, в пустынный тёмный дом
я приношу свою паучью лепту –
сии слова в молчаньи о святом.

1977

ВО ФРАНЦИИ

Во Франции, где так свежо и больно,
Продажной ночью в княжеском такси
Приятно говорить тебе: Довольно,
Ещё чуть-чуть. Мерси, мерси, мерси.

Во Франции, как в голубом конверте
С молочным еле видимым письмом,
Приятно умереть и после смерти
Кормить певичек свадебным зерном.

Ронять слезу пред голубой иконой,
И вновь под наркотической луной
Кружиться в вальсе с пьяной Персефоной
В плену у Революции шальной.

А забытьё всё ближе, ближе, ближе...
Что Петербург? – Ах, блажь да кутерьма.
Шипят супы и мысли из Парижа
В китайской нише русского ума.

1977?

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Всё те же праздные слова:
не убивай, не бей, не мучай...
Один палач едва-едва
причастен мудрости дремучей.

Но жреческий разомкнут круг,
когда могильная малина
сквозит из пенсионных рук
в доверчивые руки сына.

И тает страшное число,
как память ветренных столетий,
но странно – это ремесло
определённой всех на свете.

Я помню только: кто-и-с кем,
чья сквозняком прошита шкурка,
чьё имя – ягодка в руке,
в червивой яме демиурга.

Как будто несмышлёный вор,
похитив жизнь, забыл в прихожей
её тщету и нежный взор,
тот шум, что нам всего дороже.

И потому-то всё слышней,
всё неизбывней сор былого –
чешуекрылый хор психей,
лишённых музыки и слова.

октябрь 1977

ОТТЕПЕЛЬ

Выпив желчь на посошок,
Закусив воздушной полбой,
Вспомним чёрствый пирожок
С человечинкою тёплой.

Это было не со мной,
Но в моей крови бродило,
Но раствором в черепни
Лагерный ковчег входило.

Оттепель, сыра-трава,
И над язвою пространства
Кукурузные слова
Скурвленного ренессанса.

Это было не со мной,
И к чему всё это было?
Плакал Каин за стеной,
Авель проливал чернила,

И кружился на бегу
Медный звон больной и зыбкий –

Там, в колодезном кругу
Плакала слепая скрипка

О контуженных лесах,
О расстрелянных подвалах,
А гармонь на костылях
Воздух с кровью воровала.

Как представишь это всё –
Было – не было иль было –
Что – сломалось колесо?
Или время чифирило?

С пайкой краденной в мешке,
С человечинкой в груди
В ошельмованной тоске
В лагерной гниющей сини.

1982

ГЛУБИНКА

Помолчи, дружок, о скором спасеньи.
Тень жены сквозит в растворе осеннем.
Ей судьба искать свою половинку,
вдовьей вестницей спускаясь в глубинку.

Легче вынянчить урода в пробирке:
только темь теней да справные бирки.
Здесь прошёлся кол потравы столичной
и оставил след беды чечевичной.

Тут и старец, словно юноша, зелен.
Чуть шумок – шуршат по чёрстым постелям,
а иной хохмач – не то что другие –
на груди своей справлял Литургию.

Был он чуден, сед и в странной порфире,
а его сосед, помешан на лире,
шепелявил, пел. А толку-то, толку?
Он забыл, что в сене прячут иголку.

Херувимское простое моление
и орфическое тёмное пенье,
боковое, пьяное с лозой и тимпаном –
это блажь о Том, кто умер за Станом.

А печаль вдовы – не та ли водица?
Или бисер мечет первая Жница –
перед кем, о Господи, – теми, кто в хлеве
не забыл о Хлебе, Девке и Деве?

Я забуду всё, и мне не приснится
эта девица, кукушка, вдовица,
но кропит меня, сквозит раньше срока
жестяная, злая, рабья морока.

1978?

ДВЕ ВАРИАЦИИ

1

Как от нежного духа Жены проступает молочная запись –
осень дышит тобой , зачина посмертную завязь.

В Петербурге, в Воронеже, в Риме – слова зеленые.

Где же встретимся мы – на Волшебной горе, у Кремлёвской стены,
на равнине войны среди слепых, отравленных жирных и нежных
жемчужин ,

как мы выживем, брат, если осенью мир безоружен?

Греховодит сентябрь, как неписанный нами закон:

кровью землю кропить, манифесты писать молоком.

Греховодит Жена, и всю ночь, и всю жизнь напролёт
ни себя, ни других не жалеет – хранит – не даёт.

И царит Антигоны слепой безвоздушная страшная власть –
огневица в ночи, купина, вольнодумно-словесная вязь:
видно, хочет она в этом девстве опасном застыть –
обмануть, как жена, и опять, как сестра, хоронить.

На Волшебной горе в стороне от неверного мира,
где текучая память порой превращается в лёд,
мой потерянный брат в ароматах вина и эфира
на сеансе полночном, как лебедь застольный, плывёт.

Ах, зачем ты сроднился с косматым плутающим веком
и в колхозном начале увидел разлёт бытия?
Сорок лет, как дитя перед страшным татарским набегом,
тебя кличет жена и безумная Леда твоя.

Сорок лет зажигает она голубые лампы
над пустою равниной глухой и гундосой страны,
сорок лет ей звучат твои паузы, волны, цикады,
кружевные слова под пустым циферблатом луны.

август 1977

ТЁМНЫЕ СТРОФЫ

*Или забыты, забиты, за... кто там
Так научился стучать?*

А. Ахматова

Век девятнадцатый, железный...

А. Блок

*Знаешь что? Я думал, что больше
Увидать пустыми тайны слов...*

И. Анненский

1

Есть вечная жажда. И дело не в том,
что нет ни бадьи, ни колодца,
что ясность, как птица с лучистым крылом
нам в руки опять не даётся,
что вечера запахов, пасха теней –
единая наша отрада.
Как видно, о тьме и поётся темней,
бессвязней и горше, чем надо.

2

Повсюду зима, чертогон, и опять
мы храм посещаем, как рынок.
Но слишком легка и пьяна благодать,
бегущая слёзных тропинок.
Ты помнишь истории нашей конец?
Отмкнулись могильные плиты,
Господь прослезился, и ожил мертвец,
как век, пеленами увитый.

3

Но я не к тому помянул этот дом
болезни, забвенья и страха,
чтоб мы, словно дети в железе больном,
бряцали в церквах и на плахах,
чтоб в жёсткой коре изнывала, биясь,
кликуша, вдова или дева –
вопила, молилась и падала в грязь
под сень византийского древа.

4

А времени ход был безумен и крив,
как бред безнадежно больного.
Сравнить ли мне чары леонтьевских слив
с эйфорией "Vita Nuova"?
Блудницы и взрывчатых блюд повара,
оракулы, орфики, пташки,
философы, дел половых мастера
сплелись в сумасшедшей упряжке

5

Я их не сужу, поминаю добром,
и словно со мною то было.
Блажен, кто пропел свой последний псалом,
иному привиделось Рыло,
а третьему – Боже, за каждым углом –
какая забавная пытка! –
мерещился жёлтый облупленный дом
и реяла красная свитка...

6

Пусть страшно сверять теневые счета
живых и забытых, забытых,
пусть в Царстве Господнем земная тщета –
словесная ткань – не защита,
возьми чёрный мел, наклонись и пиши
в зеркальной ночи беспредельной:
Создатель! Мы дети Словесной Души,
рассеянной в бездне метельной...

ноябрь 1977

ДИАЛОГ

– Ты мыслишь, бедное чело?
У зеркала два страшных глаза,
Разъятых с точностью алмаза.
Эфирное тепло.

– Я погружаюсь, я тону,
И в нищите первоначальной
Вновь восстаю нагой, хрустальный,
Обратно сопричастный дну.

1978

НОЧНОЕ

1

Что ты молчишь, Эрот,
спутник бессонной ночи?
Если уж ты пришёл,
выслушай и ответь:

Разве любовь не в том,
чтобы привлечь младенца,
видеть, как вьётся он,
смертник о двух крылах?

Сам я таким, как он,
был – и совсем недавно.
Ныне же я живу
краткой жизнью других.

2

Вижу его глаза,
губы в зеркальце тайном.

Сам же я и во сне
с ним не переглянусь.

Боже, как жалок он –
воск, мотылёк стигийский
Смерть его, как вино,
душу мою живит.

Но одного боюсь:
вдруг я ошибся, сбредил?
В зеркало заглядысь,
выпил чужой бокал?

3

Берег забвенья. Ночь.
Два купца за Коцитом
ждут – так любимых ждут –
парусных кораблей.

В тюрьмах не снедь, не мёд –
клады воспоминаний.
Пёстрый на вид товар
неразличим на вкус.

Тени спешат, снуют.
Бойко идёт торговля!
Кажется, я впотьмах
свой уронил флакон?

1978

ОТРАЖЕНИЯ

I

Нет, мне не разрешить загадку:
Безглазая большая рыба
Прильнёт ко дну подводной лодкой,
То выстрелит ракетой в небо,
То пулей вылетит из дула.
Топологическая шутка,
Но почему одна и та же
Всегда готическая форма?
Изысканно, красиво, просто.
Не конус, не яйцо, не сфера.
А вдруг клозетные софисты
Загадку эту разгадают?

II

Но мы живём в стране подобий,
В зеркальной чаще Леонардо.
Внимая музыке различий,
Мы то стремимся распылиться,

То, прозревая ужас сходства,
Замкнуться колесом желаний:
Пить соки своего же тела.
А жажда так неутолима,
Что мнится: только выпив крови,
Съев печень дорогого друга,
Возможно вновь развоплотиться,
Истаять в крике петушином.

III

Последняя стезя – молчанье,
Нечувствие – последний вестник –
Мой проводник в зелёной чаще;
Смиранный ангел неустанно
Меня по кругу водит, плача
И умоляя вспомнить нечто
Такое, что и сам не помнит.
Я слово просыпаюсь. Пахнет
Росой и пьяной голубикой;
Я вижу: безутешный орфик –
Олень к источнику склонился
И тянет влагу Мнемозины.

IV

– Проснитесь, чучело, проснитесь!
Что пили вы? Ах, вы не пили?
Ну что ж, пройдёмте в отделение,

Там разберёмся. Что, кусаться?
Теперь отплатишь мне натурой...
Хотя бы здесь. Не хочешь? Разве
Приятней получить фунт лиха?
Смазливый наглый лейтенантик
Кричал, кричал и вдруг смутился,
Как будто видя отраженье...
– Чтоб больше здесь я вас не видел.
Исчез. И стал моею частью.

1978

АДЫГЕЙКА (ТРАВА)

Э.Л.

Тройные разговоры вдоль реки,
Где Lady Rain плавучих слов внезапней,
Где зубы Ангела и скоры и легки,
Когда вития-дым в уме прозябнет
Глухою адыгейскою травой,
Сокрыв миллионы насекомых мигов,
И так легко, так невесомо иго
Сознания, что кажется – прямой,
Могучий Ангел разделил нам прану
Тройных даров и скрылся за горой
До третьих кур.

Плыву по Океану,
И зов Протея мнится мне отцом,
Когда, кривясь, как тень твоей улыбки,
Он принимает образ века зыбкий
И замирает в сердце леденцом
Под пенье флейт сквозяще, как шёлк
Ночных воздушных, где стоят, красавясь,
The girls from Iranema нагишом,
Сквозь анашу смычком волны касаясь,

Как будто приглашая красных рыб
На чёрный берег,
И в умах несложных
Великое Обилие пирожных
Является подобьем страшных глыб,
Почти что несъедобных, где, смеясь,
Ширясь и шизея, бредит птица –
Жилец небес или Воздушный Князь, –
Спеша о глыбы нежные разбиться,
Но как бы ошибаясь, тянет в рот
Задумчивый и цитрусовый плод.
Скажите мне, как можно, выпив чаю,
Сказать такое?

1978

СЛОВА ДЛЯ ФЛЕЙТЫ

I

Как отыскать мне в суете метельной
Бесчисленного с именем моим,
Измученного флейтою смертельной,
Дымком ребячьим, лепетом сквозным,
Немолкнувшим над заводным зверинцем,
Лелеемым, как совестная нить,
Того, кто мог соревноваться с принцем,
Но предпочёл в безвестности сквозить,
Чтоб убежать от музыки-неволи,
Жить долго всем убийцам приказав,
Любовника моей бесцветной боли,
Взыскующей его в твоих глазах?

II

Как отыскать ему меня в пространной
Безвидной паутине бытия,
Что ткал не я, и это так же странно
Как то, что в ней запутался и я,

Чтоб выбрать нечто в этой вечной смуте –
Тщету раздумья или бой сплеча,
Как то, что мне пришлось по тварной сути –
Не по родству – стать братом палача;
Как отыскать Ему в долине воя
Того, кто недомыслил это зло,
Чтобы, свернувшись ласковой петлёю,
Увлечь меня под Отчее крыло?

III

Мы встретимся, взаимно руки свяжем
Двумя словами – видно, не впервой
Нам убеждать друг друга с неким ражем
И, убедив, отправиться домой,
Дабы опять до времени поститься,
Дожёвывать невысказанный страх
И непрестанно зыбиться, двоиться
В невидимых журчащих зеркалах,
И думать: тот, другой, что за стенами,
Он что – Другой? Иль это так, шутя...
Ведь не впервой... И в полночь между нами
Заплачет безответное дитя.

1978

ВТОРАЯ СМЕРТЬ

*Ужели некогда погубит
Во мне Он то, что мыслит, любит,
Чем Он создание довершил?..
Е. Боратынский*

Разобрав механический ад
души, что стремилась назад,
домой – в материнскую мглу,
я нашел тебя в левом углу
в световой запекшейся ранке.
У тебя был вид обезьянки.
Ты увидел меня, расцвел,
стал понятней, но не пригожей...
Я смотрел на тебя через стол
и все думал: "О, Боже, Боже,
до чего я его довел?"
Поселился во мне жилец:
полу-ангел, полу-самец –
образ муки и назиданья.
Нет на свете тяжелее знания –
знать, без Господа нет Иуды.
Оба мы с тобой хороши –

сообщающиеся сосуды
или рожки одной души.
И когда мы сыграем пьесу,
в нас останется мало весу,
так что ляжем в один мы гроб.
Третий явится прост и складен
и, подняв над зеркальной гладью,
нас пристукнет он лбом о лоб.

1979

СТИХИ О СОЮЗАХ

...Но лишь Тебе благодаря
Я так боялся словаря,
Его роскошного объема.
Слова истощены давно,
А у тебя Оно – одно,
Но словно – веер или омут.

И я вращал спектральный круг
До страшной белизны, а звук
Мельчал, крошился, истончался.
Над белым лепетом земли
Кружились А и Но, но И
Был послан и не возвращался.

Слова роднились властью уз,
Но стал мне бременем союз, –
Крестом безблагодатной речи.
Лишенный изголовья крест,
А вместо "Херувимской" бес
Пел песенку о скорой встрече.

И как случилось в этот раз,
Что Ты меня, как прежде, спас
Одним приемом, вечным, старым?
Как будто Посланный без сил
Вернулся вдруг и жизнь продлил,
И все, что вкупе, стало – Даром.

1979

КОНЦЕРТ ДЛЯ ПСИХЕИ-SPHINX

Е. Шварц

Ах, что осталось бабочке-гордячке,
Черепогрудой дочке эфемера?
Паслена да дурман, дурь да останки
Военных пиршеств – черепа и кости.
Залетная, таинственная бэби,
Она фотографирует на теле
Оскалившийся череп, лик метели,
Себя, Господаря в распятом небе;
Насмешница бескрылым и крылатым
В чужой стране, где всякий смертью сыт,
Она то стонет раненым солдатом,
То матерью безумной прокричит.
Вся в течке и, себя разогревая,
Как дева в ожидании трамвая,
И нитью запаха влечет к себе самца...
С крыл серебристая летит пыльца
И оседает, словно Божий Страх,
На славных и бесстрашных черепах.
Она познала не из книг,
Что тайна смерти там, где похоть
Сбирается в ответный миг
И вмиг кончается Эпохой.
Из разложившихся останков
Потом наделает духов,
Дабы времен на полустанках
Пленять военных женихов
И, провожая снова в бой,
Дарить их шанкром и собой.
Вот и читай этот Черепослов:
"Лихо ли, лихо ли Лихо?"

Был я таков, да и не был таков.
Ах-хи, их-хо-хо, их-хо".
В зеркало глянул – орел, молодец,
Выглянул в звездные дали,
Только затем, чтоб узреть свой крестец
Там, в роковом Зазеркалье.
Русь, Кобылица Господня, скажи,
Как нас с тобой обскакали?
Чья это вера святая лежит
Вся в серебре и оскале?
А всё затем, что круг за кругом
Послушница в сырой ночи
Пожары тушит с бесом-другом
И в ров бросает кирпичи,
Вопя: "Побита вражья сила!" –
Свидетельство тому – могила.
Но что осталось бабочке смышленной,
Розовогрудой нимфе эфемера,
Учившегося у Тальма смеяться,
Обняв ладонью серебристый череп?

1978

СКАЗ О ЖЕНАХ СКОМОРОШЬИХ

Две жены у скомороха –
Воздержание и Девство.
Днем, когда распутник пляшет,
Веселя народ мохнатый,
Две жены, как два потока,
Возвращаются к Началам.
Вот одна из них – кокотка
И в любви не удержиима,
Воду нежно из кувшина
В амфору переливает,
Над водою наклонившись,
Чтобы капля не пролилась
На песчаный берег; другая
Шлет послание Господствам:
Господари, Господари,
Назначайте время жатвы!
Мир набух, Мошна набрякла,
Приготовилась Невеста,
Скоморох устал плясать.
Возвращаются подруги
К дому мужа-скомороха;
Смоквы спелые в кошницах,

Рыбы, свитки золотые,
Горькие в устах пророка,
Но сладчайшие во чреве.
Скоморох их так встречает:
"Ну, показывайте, бляди,
Чем вы там приборахлились?
О ленивцы, вам только б
Поблудить в мечтах спросонок,
При живом да грозном Муже
Помечтать о Женихе".
Девы молча в дом проходят,
Стол дровяный украшают
Разноцветными дарами.
"Муж любезный, все готово".
Все садятся вечерять.
Тут пора и спать ложиться.
Скоморох с ноги снимает
Сапожок и, опрокинув,
Выливает литру крови.
(В тех сапожках скоморошых
Есть веселые гвоздочки –
Те, которыми когда-то
Жениха приколотили:
Потому и вышли Девы
За злодея-Скомороха).
Муж ложится, рядом – девы.
Жестока, тесна скамейка.
Только девы вид видали –
Им на это наплевать.
Завернув свои подола,
Наподобье смирной Руфи,
Ластятся и льнут к плясавцу,
Шепчут странные слова.

Так, к утру уgomонившись,
Все встанут и – на работу:
Скоморох в своих сапожках
Веселить народ мохнатый,
Девы вновь к своим Истокам –
Помечтать о Женихе.

1987

ЖАЛОБА СТАРЦА НА ПУТИ

Если б взяли разбойники
Только книги да ларчики,
Водонос да меру муки,
Милоть да каплю маслица, –
Я послал бы им с ветром вслед
Крест и благословение.
Я узнал бы их имена
И просил бы им здравия.
Была горница прибрана,
Была доченька вымыта.
Все считали ее моей
Друженькой и Невестюю.
Знали только лишь мы вдвоем
Тайну нашу постыдную –
Тем приятнее было нам
Целоваться и каяться.
Вот вошли они, черные,
Кто – откуда, – в неровен час
Кто в печную трубу вошел,
Кто из-под полу вылез вдруг.
Завлекли дочку-горлицу
В паучину пеньковую,

Обломали ей крылышки
И втроем надругались ей.
С тех-то пор и поет она
Песни дивные странные
Или пляшет под дудочку
На посмешище муринам.
Я пойду к Монастырь-горе,
В церковь, к Старцу-Решителю.
Пусть велют оскопить меня –
Развяжи, скажу, доченьку.
Если казни сей
Недостаточно,
Пусть оставят меня
Таким, как есть, –
Наказанным без наказания
И помилованным – без милости,
Без пристанища, без друга близкого,
С малой горсточкой веры нищенской.
Буду верить я, что когда-нибудь
Свет-Господь-Сам-Блуд и меня простит.

1978

ВО РВУ

I

Сидел я во рву одинешенек,
Раб Божий, несмысленный грешничек,
Антихристами осмеянный
Едино за веру правую,
За Троицу, за Воеводицу,
Предстательницу престольную.
А гадики грызли уды мои,
Скажу я, и даже – тайные.
Она пришла, милая,
Мурашей в паху раздавила и
Шубу соболью дала.

II

А как мяла Она беса, милая!
Он вопит да весь извивается,
А Она его, Царица, и так и сяк.
Говорит ему: "Перестанешь ли мучати
Раба верного моего Епифания?"
Тот и слова не может вымолвить.
Горло синенькое придушено,
Ручки с ножками перепутались.
Измельчила Она его в кровь и в кость,
И следов не осталось на пальчиках!
То-то, блядословы проклятые!

1978

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В тихой кельице время горит в две свечи,
Еле слышный течет диалог:

– Божий дар – не яичница: съел и молчи,
А в страстях да хранит тебя Бог!

– Так-то так, мой отец, но уже круглый год
Я хожу по кругам и впотьмах.
Я не знаю, зачем он со мной живет,
Тихо блеет и трогает пах.

И осклабясь слегка, отвечает старик:
– Даже дух не коснеет в грехе,
Он бесплотною мукой к блаженству приник
И не видит крючка в червяке.

– Так-то так, мой учитель, но страшно порой
Мне в неведеньи света гадать:
Что случится со мною за смертной стеной?
Не простит меня Божия Мать!

– Ты не искрен с отцом своим, я же просил
Рассказать обо всем, Филофей!
– Я ему отвечаю, о Господи Сил,
Излиянием плоти своей!

Долго старец молчит и глядит в потолок,
Но не в силах рыданий сдержать:
– Как вошел ты сегодня – я сразу истек,
О, спаси нас, Пречистая Мать!

Рассвело. Разговор приближался к концу,
Инок плачущий дверь отворил...
После этого бес не являлся к юнцу,
Старец вскоре о Бозе почил.

1979

ДАНАЯ

Как можешь ты, сестрица, дева, мать,
село блаженств и чаша новоселий,
дочь, девочка – в таком богатом теле
так нежиться, блудить и тосковать?

И хлад и мраз – лишь оболочка Блага,
гаданий нескончаемых досуг.
Для девы что ни камень – то супруг,
что ни супруг – то золотая влага.

Та девочка была тебя нежней,
когда, презрев превратности Закона,
она отверзла жаждущее лоно,

и Царь сошел с отеческого трона –
так в нищете великой без урона
Сын золотой и Муж плескался в Ней.

1979

У Царских Врат в полузабытом мире
в новозаветной дивной наготе,
о девочка, мы все еще не те,
как солнечные тени на потире.

Но видимое кажется видней,
когда возду́х возносится как птица,
и в нищете ветхозаветных дней
над кровью Агнца Голый Бог клубится.

1979

Мало событий. Прочее неинтересно.
Церкви – как перекуры в кровавой работе.
Веги, эпохи – до измождения плоти
Тварной Истории – главки Книги Небесной,

Правописание – до истощенья правил,
Слов вавилоны – до изможденья Слова –
Эхо, эхо и эхо сквозного зова:
Отче, Отче, зачем Ты меня оставил?

Всё об Одном, о Единственном, о Едином
Черным по белому, черным и белым, Белым
Плачешь, плачешь и никнешь в безвольное тело,
В смертную язву, в богоподобную глину.

1979

Чтобы священник тайно восплакал горе,
слушая Голубя-Духа, Уголь Пылающий зря,
надо кровавым волчком по снегам в январе
мне прокатиться, ни слова не говоря.

Эта зависимость – не временное кино,
но как двуликий в себя обращен однолюб –
страшное, встречное, светлое зренье одно
Вечного Мяса и язвы предательских губ.

февраль 1979

ПОСВЯЩЕНИЕ ***

I

Что нас связало? – Я не видел лица твоего и тела там, в темноте – только абрис немого стога.
Помнишь, как слово твое во мне болело, словно я сам был – Лоно?

Там, в темноте, в зеленом пьяном тумане
Бог наблюдал нас, спасая для казней новых,
словно червей, гнездившихся в черной ране,
слово любое изобразить готовых.

II

Нам петь с тобой в теневом посмертном хоре,
где тонут в созвучьи кликушья стенанья вдов,
но знаешь ли ты, как прячут в нежном соре
теплые сени давно бездыханных слов?

И пламя сухое хранит их неопалимо,
И тени перстов слегка касаются их,
но эта игра беспечна, нема, незрима –
соитие теней от века праздных, родных.

III

Беда не в том, что я живу впотьмах,
в словесном коконе желаний,
и страх имен есть тот же божий страх,
когда у всех – как Кесарь – на устах –
шепот именований.

Беда не в том, что лебезит зима
в смиренном словоотреченьи,
но если я не выжил из ума,
мне чудится в беспечности письма –
вечность развоплощения.

1979

День – твоя тень,
а ночь – твоя дочь –
кормилица, сучка, внешность.
Горят до зари
твои фонари:
Ты режешь стеклом промежность*.

Слова, как слова:
живут, но едва –
в голодном гнезде каверны...
Меж мной и Тобой
есть воздух и боль,
и свет, и свет не вечерний.

1979

* Аллюзия на фильм И. Бергмана "Шепот и крики".

Может быть, ты еще хочешь вернуться
в жалобный мир, где так жалко дрожит,
кружится белое бальное блюдо
в черном театре разъятой души?

Как утомительны зрячие воды!
Можно лишь в танце душу спасти.
Милая, милый, не помню я, кто ты –
медиумический дух травести?

Род полуведенья, дух полужанья,
самобормочущий, шарящий стих?
Шелест и щелканье, свист и зиянье
пауз молочных и ран световых.

Как на корню засыхает растение,
как задыхается бешеный кит,
я бы хотел умаленья, безтемья...
Время щебечет и бездна чадит.

1979-1981

Все, что мной написано, говорила бабушка
топором не вырубишь, тексты не сгорают.
Все что мной накакано под зеленой травкою
в ледяном периоде и кайлом не схватишь.
Русско-ли-французское, англо-ли-сибирское
индо-среднерусское, что твои махатмы –
разве с этим справишься, разве это выблюешь? –
и не думай, корешок, – совесть замордует.
Совесть, слышь, от сов она, от совейских сов –
она,
не еврейских сов она и не дура штатская,
но и не военная, просто оборонная
оборона обороны – муза мандельштамская.

1979

Еще нас держат в материнском теле –
поэтому-то мы и уцелели,
а отскобли попробуй, извлеки –
облатки гнили, ломтики трухи –
дань всесожженья жреческой печи,
где грецкие справляют калачи.

.....

Но кто же эти "мы"? В чаду творенья
переводные кальки говоренья,
всерастворенья белые тельца?

.....

Какое изощренное витийство
кого-то заставляет называть
всю эту круговую благодать,
весь этот мусор – родом византийства?

1979

ЭПИТАФИЯ

Не имел, *et ergo*, не терял.
Иногда за чтением Писанья
ворошил досужий матерьял –
Черный Плат с прорехами Желанья.

Дар напрасный прятал ото всех,
хороня его в пошлейшей песне –
Ео ipso, чем страшнее грех,
тем невинней он и бессловесней.

После смерти он звонил в Париж
и просил кого-то – ради Бога –
залатать ветшающий фетиш
и зарыть до встречи *sine loco*.

1980

ИЗОБРЕТЕНИЕ ХРИСТА

И. Кабакову

В поту неправого терпенья
художник лист перевернет;
на нем христос изобретенья,
как праздник серости, цветет.
Так бессловесное мученье
строитель музыкальных сот –
синильных косточек свеченье –
на нотный стан переведет;

Так в комнате глухой и темной,
свободный от свобод и прав,
строчит Христос Изобретенный,
в паху вселенную зажав;

И, словно девка-ученица,
ему отдавшаяся в рост,
душа его над ним глумиться:
сойди с креста, спаси, Христос!

Спаси, Христос, простой народец
и сотвори для дольных нужд
из шлюх – словесных богородиц,
Эрато – из глухих кликуш.

Из полутьмы и заиканья –
на всякий лад, на всякий вкус –
устрой веселое комканье* –
поющий свальный ком искусств,

Чтоб сами заплясали ноги,
чтоб песенка сорвалась в крик:
христос в Москве, христос в остроге,
христос на Западе возник!
И кто, опомнясь, молвит снова:
"О, где ты, грешная земля?" –
крутясь на палубе больного
расхристанного корабля?

1982?

* Комканье - древнерусское просторечие, искажение латинского "communicatio" - таинства причастия.

ОСЕНЬ АНДРОГИНА

Ни лобзание Ти дам, яко Иуда...
*Из последования св. Иоанна Златоуста
ко святому причастию*

Вот и опять я забиваю сваи:
Видно пришла пора строить дом новый,
Крепкий, кленовый –
Покров осеннего блуда.
Вот и вновь мы встретились с Вами:
Не робко, как прежде – в одежде –
В брачном галльском союзе,
Отдавшись друг другу и пьяной музе,
Норовя превратиться в трубу сквозную...
Вы – с ней, но я не ревную.
То не беда, не вышло бы шума.
Чьи-то шаги за окном, машина,
За стенкой ребенок плачет.
Вчера хоронили кого-то. Стыли
Цветы на ветру, и мертвец в могиле
Забыл, что все это значит.

Пора перейти нам на Ты, пожалуй. –
Раньше жена нам мешала,
Жало
Ее подкожное ныло.
Корчились цикламены в стаканах,
Мы возвращались в орденских ранах:
– Я не терплю, ненавижу пьяных –
Роза подкожная ныла.

Мы ее прятали как придется:
Может, забудется – разовьется
Бледным огнем сирени:
Будем молиться втроем украдкой
И осыпаться в истоме сладкой
Звездной сиреневой лихорадкой...
Забыл, как все это было.

Варево ночи. Вязкая теча.
Видно, идти нам с Тобой недалече
К этой последней цели.
Как цикламены цвели, как рожали
Женщины птиц, и они провожали
Нас к нашей поздней цвели!
– Милый, ты тонешь? – Ты хочешь – тоже?
– Мне – это обойдется дороже... –
Помнишь?.. Дева: Мне – душно.
Всхлип. Ветерок, чей-то крик полночный...
Мы предаем друг друга заочно:
Пусть наш союз – невесомый, прочный –
Ангелам это не нужно.

То не раденье двух встречных нищих –
Ангелы разделяют пищу:
Неистощимое рвут на части Тело:
Бьется бескрылая, стонет птица...
Музыка, время и тело длится –
(Вовремя надо б остановиться
И простыней бессмертья покрыться) –
Миг – и кончено дело.
Комнатный зверь завоюет спросонок,
Как нерожденный звездный ребенок,
Атом послушный.
Кончилось время, растлило лето.

– Это – последняя сигарета?
Машет смертельным крылом рассвета
Князь Воздушный.

Ангел мой, жизнь моя, Ты ли то, ты ли
В клубах зыблящейся звездной пыли?
Он с удивленьем глядит на меня:

Где же мы были?

Раньше война нам мешала: теча
Всемирная. Плыть уже недалече.
Завтра китаец нам перескажет
Китайские анекдоты...

Я говорю ему: Забудь. Но где ты?
Слышишь, роятся вокруг планеты...
А он отвечает мне: Завтра – veto
Но кто ты, кто ты?

Красные цикламены в стакане.
Воздух запекшийся в черной ране.
Кем мы были, кем мы станем?
Куколками в рогоже.
Я просыпаюсь, Он уходит.
В комнате Бог предрассветный бродит.
Она говорит: Вы разные все же,
Но это весьма приятно.

Я отвечаю ей: Милостив Цезарь.
Чем же мы будем опохмеляться,
Я говорю ей, что с нами будет?
Она мне шепчет: Понятно.

Эхо с Нарциссом вовек не слиться.
В зеркале время плывет, дробится:
Плавают, словно в пустыне белой
Части тела:

Всем зеркалам суждено разбиться,

Всем образам надлежит светиться
В лоне огня, в нутряной постели,
В красной купели.
Это не образ земного рая.
Это та самая Смерть Вторая –
Бегство в ничто от края до края
Дантова круга.
Это не голод блудного сына,
Но возжелание андрогина
И – что еще страшней и безбольней –
Утрата друга.

Впрочем идти нам с тобой недолго
Там, где сливаются Рейн и Волга,
Звери – цветы, деревья – свечи:
Сад Невозможной встречи.
Там Он и ждет нас хранимый стражем,
Весь изувечен и напомажен,
Плачущий, вооруженный смехом –
Он – и Нарцисс и Эхо.
– Кто вы, – спросит, – двойная скверна?
Мы ответим Ему: наверно,
Мы – Ничто словесная сперма:
Роза и сыпь сирени.
Он же скажет нам: Звери знают –
Так букеты не составляют. –
.....
– На колени!

Ангел с улыбкой проходит мимо.
В небе беззвездном недостижимо
Светится ЧАША

июнь 1978

ИЗ ЦИКЛА "THERAPEIA"

В. Кривулину

Дружества лепет сладчайший
Милости слово сквозное
Боль обнимается с болью –
Им – тихим – не больно
Время входит в Алтарь с опустевшею Чашей
И врата затворяются
В этом тишайшем уходе
Всё – примиренье
Новым алкателям крови
Как оглашенным
Вновь предносится Тайна
Только больных
Посещает священник с Дарами
Боль утешается болью

Здесь ангел разделил пасхальный звон
 На пестроте собранье птичьих трелей,
 Здесь каждый видел светлый круг времен –
 Сенописанье Льва – иллюзион
 Солнцеподобной акварели.

Как хочешь разменяй, развремени,
 Распространи усвоенное кровью,
 Лишь простоте соблазна не вмени.
 Ужели мне раскрасить эти дни
 И возвратиться к предисловью?

Так пища жестока, так прост пример
 И Агнца-Первенца и Друга-Очевидца,
 Но Лев вращает колесо химер,
 И радужный отец, игумен мертвых сфер,
 Сияет, ищет разрешиться.

1979

БЕЛЫЙ ШУМ

Как бел иконостас! Истаял звук?
 И времена горят как свечи.
 Будь милосерд, останови свой круг,
 Усвой мне образ человеческий.

О, я готов на этот крайний срок
 Желтеть синовым уроном,
 На красном кровью проложить стежок
 Или аукаться в зеленом.

Но дым над солей! Мы не вольны
Лечить и править времена больные.
Я опоздал, и пламя белизны
Сквозит меня, как лейкомия.

1979

Здесь в настоящем в бесцветном безвременьи дней
Небо престольное Ли и Монтана оживших камней
О оперенье соблазна и тьмы светоносной

Свитки небес и престольные ясные сосны
В теплом безвременьи и в живоносной смоле
Небо Монтаны над матерной речкой Оятью

Небо Престолов приличное разве что платью

Речка течет забываясь и пряться во мгле

1979

Душе постыло бабочкой летать,
Ей дом-гербарий писчий уготован.
Пора смириться смертной плотью слова –
Кормить ее, голубить, одевать.

Под пологом беспамьяства глухим
И в каталоге слухового зренья

Игла ей – ласка, пища ей – сравнение
Белесой ночи с саваном цветным.

Кто смертью помечен как пылью,
Кто слухом осязал сквозную млечность,
Тот зрением, помноженным на вечность,
Восхитит ее страшное лицо.

1979

Густого эфира блудливый шумок
Всё путаней, легче, бессвязней –
Так голос уходит то в лепет, то в щелк,
В помехи от прожитых казней,

Так голос уходит. Кому невдомек,
Что казни – лишь звучные вехи?
Так голос, одетый, как в шубу, в шумок,
Оснеженный, ловит помехи,
Играет и прячет осколок лица
Под шубой пылицы поседелой,
И реет в прорехи в ремнях и в зубах
Мучительно смертное тело.

1979

Постный канун. Надо льдом вековая метель
Шепчет слова полустертые, полунемые.
Где Вы, Кузмин, золотые поля содомии?
Вслушайтесь – это форель!

Это рефрен Ваших встреч, их чистейшая грань, –
В знойном Некрополе вьется серебряным стоном
Ваша сестра, Ваша ревность со взором зеленом –
Дружества женская ткань.

Или намек, приглашение в тенистый садок?
Сдержанный льдистой пленкой словесный излишек?
Бьется форель. Кто от стука ее изнемог,
Спит у старьевщика в нише.

1979

Так смерть приходит. Пять минут
осталось и невыразимо
сквозит желанье мимо, мимо
словесных и случайных пут.

И сам себе назначишь срок,
как вдруг не вынесешь притворства:
зачем тщетою богоборства
пленять молитвенный исток?

Но и молитва чуть жива,
всё мечется, всё ищет сходства,
и только воздух первородства
живит предсмертные слова.

1979

Белая Тьма. Или в области вздыханий
ткется плетенье слов? –
Умная Влага Твоих воздушных тканей –
так шьется хитон без швов.

Умному Телу гвоздимому сам послушный,
Но уязвлен Тюрьмой,
бьется и бьется птенец в сети воздушной
слепоглухонемой.

1979

Духовная оптика смертных полетов:
как близко всё издали, зримо и близко,
но слух словно улей разломан, изыскан –
о, слов обездоленных долгие соты!

О, сирое зреньё, смесившее краски
в наглядную тьму – мимолетную милость.
Так в смертном кольце саломеиной пляски
мелькнуло знаменьё креста – и
растлилось.

1979

ЧЕТЫРЕ ЭПИГРАММЫ

I

Слишком легко, как мне пишется, слишком легко
Выжить в безумии шума языкового:
Слово свое размывать и штудировать слово
Задней губой – аристотелев бред рококо:

Бычий флажок, заштрихованный черной икрой,
Тропами грязных белил и моих путешествий.
Тут и поймешь, как едины мы в теле-и-месте
Вместе с тобой, Собеседник мой, друг, геморрой.

II

Трудно сказать – о, как хочется! – трудно сказать
О белизне-черноте небылого-былого.
Словно облатка, бескровно бесполое слово.
Тело впотьмы улетело – души не узнать.

Хочешь – гадай, хочешь – верь, хочешь – тронься с ума:
но слепая иль зрячая с вещей косою?
– не стою – все равно, как покойник, не стою
их разборок зеркальных, разводов письма.

III

Зеркало, зеркало, значит мы тронули Эхо,
Горнее Эхо – перстом Себастьяна Баха?
Как это – мы не сошли с ума от страха?
Не захлебнулись в холодных волнах смеха?

Тронули – и горохом сизифовым об пол
С неба свергнулся голос – железный лист!
В синкопической паузе – хлопанье, скрежет, свист.
Кто там был? Кто кричал? Кто так громко топал?

IV

Голос, продленный изгибом сквозного ствола,
Ракообразным движеньем наказанный – смертью,
Голос тишайший меж словом, молчаньем и медью,
Раковым горлом сгорающий тихо дотла...

Пусть так и будет, но в лоне, в родной темноте –
Кто еще спросит с тебя, живой, нелюдимый –
Голос, нет, речь, сквозящая мимо и мимо,
Вчерне творимая, внове, нет, в новой тщете.

май 1982

ИЗ ЦИКЛА "SOLILOQUIA"

ЛЕНТА 1

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Если в ленту свернуть эту речь – эту боль травести –
эту речь, обращенную к Альфе спеленутым оком,
что в ответ обрету я, вращаясь в забвеньи глубоком,
окруженный Омегой молчанья на Млечном Пути?

Пониманье? – Китайский квадрат нумерованных глаз!
Что посеял, Арепо, ступай и пожни поскорее! –
В белых нишах сознаний-синонимов, в серой сквозной
галерее
влажный знак соучастья – белесый светящийся газ!

О достаточно! Лента окончилась. Пусть
этот дым разобщения всякую похоть развеет.
Что посеял, Арепо, ступай и пожни поскорее
в отраженных изгибах пяти соломоновых чувств... –

И, растворяя явь воздушной сети,
язык прилипнет к лону междометий,
благословляя самую попытку –
толчки подземной кровянистой речи.

Итак, само пространство между словом
и словом это тоже междометье,
и в мандале рассеян прикровенный
последний бисер сенописца-льва.

1980

ИЗ КНИГИ
"ПОСТСКРИПТУМ"
1979-1982

СИНТЕЗ

Между Альфой и Омегой
худо место для ночлега:
все трещит, смердит, гниет,
и встает из перегноя
племя новое, иное,
как бы движется, живет.

Между гробом и работой
нет покоя в день Субботы
телу, сердцу и уму –
триединому составу,
всяко быть ему неправу –
я не знаю, почему.

Но, видать, глаголют право:
близок день вселенской славы –
всё изменится, пройдет:
словно нетел отелится,
ум от тела отделится
и в Омеге пропадет.

А потом, занявши силу,
сядет он на землю милу,
многокрыл и деловит.
Всё проймет и всё прознает,
все могилы раскопает,
все гнилушки воскресит.

И не спросит он уныло:
А зачем все это было? –
Видно, Альфе-то видней:
сядет тройка в трибунале
править суд, вести в журнале
счет грехов и трудодней.

И тогда по всей вселенной
воцарится сонм блаженный:
благодать – на благодать,
но различный – не кромешный:
кто-то будет там, конечно,
антиномии решать.

А другие, как благие,
все зайдутся в литургии
и вовек не отойдут.
Очесами сие незримо,
красото непостижимо,
и слова на ум нейдут.

Тем и будем утешаться,
особливо же стараться
страхом Божьим дорожить,
а Начальства, Власти, Силы
приготовят нам могилы,
чтобы всуе не блажить.

апрель 1982

Вне языка не помышляй и жить,
пусть даже почва столь косноязычна,
что падшее на землю не умрет –
не оживет – и в зауми безличный
не закоснеет, но из рода в род
протянется бессмысленная нить –
питательная трубка между плотью
и нежитью словесной – мы живем! –
сплошной язык, как сумасшедший дом
одержит нас. И нет конца бесплодью.

апрель 1982

Шелушится тает черствая кора
это легкая игра без топора

бескорыстная игра размен колод
шелушится время тает мох цветет

меж деревьев гиблых вьется сизый дым
это Герцен обнимает вечный Рим

а из мха торчит бетонная плита
государства – царства вечная пята

глянет ворон в зазеркалье ветхих вежд
что там? радонеж радóнеж радонéж?

в героической кровавой полутьме
ударенья препинания одне

ах податься бы куда-нибудь домой
да сковал меня покров языковой

холод странничек а все же – духота
голод родненький а мучит тошнота

сколько времени прошло веков минут
как вошел в меня и душит чей-то блуд

в каждый уд вошел и в ах и в ох и в кхе
отпечатался бельмом на языке

без движенья но в оргазме и в петле
замер он на полуслове на игле

и ни встать ему ни сесть ему ни лечь
вдруг умрешь впотьмах и превратишься в
речь?

1981

Безвремяе. Пиши хоть наобум –
воздушной сетью языка запятой,
играй во всех пяти – скворчи, юродствуй,
ратуй
на холостом кресте и в каменном гробу –

всё равнозвучно, всё отречено,
как под землей гниущее величье –
преображенье времени в одно
голосованье, голословье птичье,

где словно равный в нетях языка,
как ибис заводной, как бес толковый,
Египет чумный судит на века
и с каменным не растается словом.

1982

Как под корой сновидная игра,
черноречисты в узах вечера,
и каждый говорит, как будто что-то значит,
но всякий значащий его переиначит,
железом праведным и цепью обовьет,
чтоб сохранился говоренья плод.

Дальнейшее – молчанье. Сгусток темы –
тьмы кафолической молельный страшный сад.
Здесь никнут в хаосе, здесь в ужасе молчат.

Но, как магнето ласковые клеммы,
разговорят нас властные эмблемы.
И не поймешь, кто держит реостат.

август 1982

Писать, закрыть глаза, писать,
писать, открыть, писать,
как кол на голове тесать,
себя за хвост кусать.

Мы строим писчий мавзолей,
шарообразный дом –
кто пишет кровью по земле,
кто попросту – пером.

Но всякий раз сводя на нет
письма и крови след,
грядет вослед с метлой за ним
незримый Аноним.

Он обрастает, словно дух,
костьми, крылом, пером,
плоть человечья, ровно пух,
колышется на Нем.

Но вот Он распрямит крыла,
стряхнет земную рать,
и вновь губерния пошла
писать, кромсать, писать.

Какое длинное письмо
растет себе само!

Как бы из чресел эскимо –
Попробуешь – дерьмо.

Какой огромный чемодан
вестей из дальних стран,
как расчлененка, как роман...
Читай, держи карман!

Между началом и концом,
меж Сыном и Отцом,
как будто исчезает суть –
не вся – чуть-чуть, чуть-чуть...

Апофатический намек,
хрящ мировых мощей,
соль бытия, письма предлог
и поясничный змей –

как ни зови – авторитет,
желанье, божество,
само дыхание... О, нет! –
условие его –

нет имени: пятно, пятно
на бледном полотне.
Творение растворено
в смесительном огне.

1981-1982

P.S.

Из темного варева гнойных желез
снарядом набрякшим, дебелим,
он вырос – словесный порхающий жезл,
как власть и продление тела.

И кружит, и правит – парит надо мной
диктатором плоти постылой...
Зачем мне, убитому черной весной,
все эти вчерашние силы?

О, мне бы хотелось не власти земной,
по смерти вращающей блюда,
но смертных ростков на коре земляной,
как пальцев любимых, коснуться.

апрель 1979

Уединение

Лонотворение хлеба
нет ни вождей ни солдат
светлая боль
и шершавое влажное небо
в чистописаньи цитат

ты ещё спишь
обессилена тихой бурей
замкнута светлой водой
где я – с тобой? –
или в корпусе чёрной лазури –
узник и временник твой?

словно из тьмы
где смешались и буквы и святцы
тянется слово на свет –
тени письма
проступают белеют сочатся
камерным сводом планет
анестезия желанья
родной планетарий
послевоенный покой
чистое поле
и марево прожитой гари
жуть бытия под рукой

Вот и всё
только тёплая жуть бытия под рукой
и покой
еле слышимый плеск эмбриона
стой мой странничек стой
отдохни полежи
близ церквушки уснувшей над бледной
рекой
отдохни
полежи
в тёплой матке зона

как уснуть
если смертно-живой повторяется путь
чуден сон
в тёмном чреве заплакал Иона
тихо в церковь войди
так светло так темно
в тёплом лоне в растворе зона
тихо в церковь войди
там светло и темно
тихо в церковь войди
там светло и темно
словно в сфере прозрачной слезит и блуждает
икона

1979

Я вижу во сне коляску на берегу моря
и сам восседаю в ней, и – счастливый – перемещаюсь,
то папою с мамой в нежную бездну толкаем,
то – милой женой, увязая в песке зыбучем,
а то – благодарным ребёнком на двух ходулях.

Внучатые сны! И разве мне они снятся?
А что – мужику в ярославский сырой могиле,
дьячку из Тамбовщины с прокисшей от пива рожей?
Те, даже в земле сокрушаясь, отцовство чтили,
из праха в прах преходя, сиротства не знали,
а я, как небесный выкидыш, мечтаю об опекунстве.

Вот, просыпаюсь и думаю: что же случилось?
На свежую голову не понять – надо день осилить,
перемолоть себя в труху, стать небесным телом,
прокиснуть дулей ярости в ледяном пространстве,
упасть обрубком желанья на инвалидную тачку...
Что впереди? А впереди – солнечный лепрозорий

Туристы шайками бродят, слушают разъяснения, смеются,
играют в кости покойников, пьют из отцовских черепов...
Ни одного негра, ни кирхи. Не слышно органа
на православном острове-острове, ни колокольного звона...
Отче, Отче, как выжить мне здесь без причастья?

1981

ПЯТЫЙ РИМ

1

Вспомнил слепую сову:
как шарахнулась в тень пресмыкаясь
разве сказал я: живу?
только шёпотом шарю и маюсь

посохом слова в ночи –
о, отзывчива хоть и глумлива:
слышишь? Ключевский журчит
чуешь? Герцен шатается крива

пеплом словесным седым
лепестковым осядет на плечи
пятый строительный Рим...
где твой брат где мой Авель, кузнечик?

небо ли хочет продлить
в травяной заплутавшейся прозе
или отчаясь испить
белой тьмы ионических сосен?

страшно учёной душе
без овечьей растительной крыши
ах, отслоилось клише,
отлетает всё выше и выше!..

в спячке египетских игр
 ошалев от июльского вара
вдруг расшататься и –
 катом – растительным шаром –
в бюрократический парк
 и под шорох насмешек
беженке Божьей
 вручить омерзевший орешек
чтобы в блаженстве потока
 в зените сознанья
хрустнула спица
 соснового колесованья
так бы случилась
 важнейшая из репетиций
всерастворенья
 где всё примиряясь и ссорясь
силаясь истлеть
 порывалось бы вновь возвратиться
мёдом словесным
 в бетонные соты бессониц
там голоса
 на эфирных болтаются нитях
в душной мороке
 в безлиственной прорве событий
перетасуй эту тьму
 и откроется главный
джокер себе самому
 от начала не равный
если в колоду не ляжет
 он свяжет раствором до срока
в мшистом отечестве

всех комариных пророков
на плавунах на костях
зашатается улей непрочный
выжить бы шаром словесным
в растительной почве заочной

3

ночью закроешь глаза –
тёмный поток мутно-сладкий:
то приварилась слеза
к небу графлёной сетчатки

кровосмесительный вид:
море в горячке пожарной –
нефть золотая горит
сердце земли леденит
чёрный раствор тринитарный

не зреньем крёстным и не словом трудным
но слухом обветшалым неподсудным
но слухом игловерхим неподсудным
творить псалом в вечнозелёном теле
о, длить и длить почетные минуты
к сыпучей смерти направляя уды

кто не страшась огонька
кровосмесительной мести
держит в ужовых руках
жизнь и бюро путешествий?

все ли вы там заодно?
небо шуршит костяное
видишь: в Европу окно
тихо уходит на дно
золото слов нефтяное

я напоил зелёной кровью сердце
здесь мощи мира слава псалмопевца
здесь на болотной кочке стих распятый
здесь Пятый Рим возводится проклятый
и пьяницы синеют от кошмаров
в траншеях поэтических бульваров

пахнет кровавым жнивьем
тысячелетнего царства
бродит священник с ружьем
у закровов государства

служит а сам сторожит
чтоб никому не обидно
дальше мелькает как быт
страшно и плёнка горит
дальше смешалось. Не видно

1981

Помнишь, как в душной ночи
Зашуршала воздушная яма?
Матерный треск саранчи
И защитная чушь Мандельштама.

Не безземельный ли Спас,
Каин двенадцатительный
Чешет чешуйчатый глаз,
Пашет на черни ничейной?

Нет, говорит, я шуршу,
Чутко шуршу, не маячу –
Очерком, чернью пишу,
Шерстью земною означу.

В братской могиле шуршим
Властью и песнью и пастью,
Словно наружу спешим.
Слышишь, трава, это – мастер,

Мастер и мастеровой
Власти звучащей и вести.
Все здесь смешалось: конвой
Жирных червей в поднебесье.

Их безразличная страсть
Тешит то масть, то угрозу:
Входит в мастящую пасть
Или в жующую розу.

Слышишь, теперь говорю?
Как и написано слышит.
В душное небо смотрю:
Давится, делится, дышит.

1981

ВОЗЛЕ РУССКОЙ ИДЕИ
(восемь надписей на литературной могиле
В.В. Розанова)

1

Богоневеста, ложесна разверзла Россия –
тихая Руфь, она ждёт своего жениха,
мужа Европы, чтобы, обняв, обезглавить.

2

Помню, меня одна лизнула такая
в самую точку, словно я Апис всесильный,
в самое сердце и в душу, и в мать, и в
лицо.

3

Дети природы, выйдем из лунного круга,
лифчики сбросим в церкви, станем как дети
Мельхиседека и Айседоры Дункан.

4

Не в алтаре, конечно, но где-то возле
нужно устроить первый альков новобрачных –
пусть себе стонут в лад песнопеньям стройным.

5

Рыло, о рыло России с красною свиткой,
якобы голубь белый с ветвью масличной,
нет – борзописец беглый, чёрт лапидарный.

6

Что Он принёс на землю? – Скорби и раны,
смерть да бесплодье, воню загробной жизни.
час неделимый между собакой и волком.

7

Чем отдал я Его? – Своею смертью,
чуть показав лицо Ему и миру –
Самую каплю, самый смертельный кончик.

8

Дети, о дети, милые сердцу Иова,
вот и вернулись вы, дети. И вправду ль – дети?
Дети-то – дети, но хари какие, рыла!..

1981

В белом венчике из роз
впереди Иисус Христос
А. Блок

Чуден дух молочной кринки.
Запивай, дурак Иисус,
богородичной грудинки
непритворный вязкий вкус.
Эвое! Какая встреча
на алгофской мураве!
Заболтал Иван-предтеча:
Скоро течка – Эвое!
Богородица-мать,
дай сосцы твои мять,
раздроблять пречистое тело.
Отвори, мать, уста,
выплюнь света-Христа,
дай нам Агнца в венчике белом!
От иркутских алгоф
к нам придёт Саваоф,
сядет третьим Петром на Неве,
будет кровью святой

мыть корабль золотой.
Эвое, эвое, эвое!
Удались блины на славу,
сытен красный каравай.
Поминай свою державу,
кровь младенца заедай!

1979

Сколько праздников!
Сколько естественной радости,
радужной пыли,
эйфории и мяса
на пике крутого поста!
Неужели и вправду мы кончили,
в самом конце – победили
с патриаршей подмогой,
с землицей в расцветших устах?
Как в цветном эпилоге
после той мелкотни хроникальной,
где лишь грохот и вой,
свист и крик, человек и снаряд, –
всё роится, всё плещется,
всё цветёт чепухой зазеркальной –
разберись, где известный,
а где – неизвестный солдат!
Фарш волшебный из виршей и маршей,
из визга и пенья,
равноправные дети-застрельщики,
дети-стрелки...
Круговое терпенье, цыплячье сцепленье,
цветенье! –
Возлагают венки.

Возлагают венки.
Запах жирных нулей
 заполняет прогулы сквозные,
чёрно-белые клирики
 скорбной шеренгой стоят.
"Далеко ли идти
 до блаженной страны Содомии?" –
так, должно быть, их спросит
 цветной Неизвестный Солдат.
Словно в сказке дремучей,
 конец захлебнётся в начале.
Как в любовном безумьи,
 связав родничок свой и род,
весь в анютиных глазках,
 в крови,
 в чешуе маргиналий
мёртвый тянется к небу
 и землю родную грызёт.

май 1982

В лесу земном, в саду, в соборе птичьем,
в раскольниковом огне и подо льдом
подумай, чиж, какое безразличье –
одновременность вечности во всём.

Ах, "вещь в себе"? – Нет, "Вечность и вещица",
метафоры безумной перелёт.
Прислушайся как в темени крошится
сухой, горячий, чёрный, страшный лёд.

Пора давно откланяться варягу
и книжечек хреновых не листать,
собачьим дрыном окропить бумагу
и прокурорской вязью подписать.

А то построить храм железный, прочный
И, веселясь как бес на небеси,
всё праздновать и праздновать заочно
весёлое крещение Руси.

Когда же вознесённый диким зельем
прекрасный фаллос в небе расцветёт,

и через пять минут в раю подземном
захлопнется последний чёрный ход,

я побегу шалея и кусаясь
в расцвет огня, в развёрстку и в расход,
и голос мой на йоты растекаясь
в томительную вечность ниспадёт.

1983

ЭКОЛОГИЯ

Я вижу вас, рыбы,
писатели с нежной коростой ума на челе,
вас, о певцы мирового дерева
с блуждающем перфокартой в мозгу,
и ваших детей,
ударяющих в ритмический бубен Лойолы,
едва наученных говорить "да" и "нет",
но уже различающих "мужское и женское"
и серией порнографических па
достигших экстаза,
и снова вас,
уаокоенных в тёмных нишах бытия
и почти небытия,
в игольчатом опереньи суетной защиты
с чёрными сферами на концах ваших игл,
полными ядом блуждающих смыслов,
слов, которые завтра умрут,
а сегодня
на привязи ваших желаний
работают вам
как бессловесные скоты.

.....

Игра в бисер – это только пора нереста.

1976-83

КИНЕМАТОГРАФ

1

жить стало лучше и веселее
тянется размазня ностальгии
о эти тридцатые годы!
а поколение шестидесятых!
в колере коричневатом
в склеротической дымке любовной –
время требует аскетизма –
к финишу как всегда расцветая

2

Старое и новое: Сергей Эйзенштейн

педерастическая склонность эйзенштейновского топора
в последний раз
принуть казённым поцелуем к шее казнимого
в последний раз
облобызать и растлить обречённое на уничтожение
последний раз
всем колхозом напялить на себя ризничные одежды
всё равно ведь плёнку потом сожгут
в приступе ностальгии
останется Черкасов с неизменным солопом в деснице
взбесившаяся коляска с ребёнком
пролетарский Апис эмигрировавший в "мир Феллини"
музыка Прокофьева слова Луговского

отвращение

кажется я это уже видел
освежевать тушку зайца
и ждать когда она покроется мохом
смотреть смотреть смотреть на белую стенку
на третий же день дождаться любовника
и наскоро переспав с ним
пришить и похоронить его
в комфортабельной ванне
конечно труп начнёт разлагаться
муж вернётся из командировки
обстоятельства встречи будут ужасны

Э. Л.

Мы сидим на веранде пригородного ресторана.
Жарко. Но мы заказали кофе.
Не скажу, что свободно льётся беседа:
так – флюктуирует, брезжит.
Появляется Официант: на огромном подносе
расставлены могильные урны.
Я пытаюсь считать и скоро сбиваюсь со счёта.
(Урны сделаны капитально.)
Впрочем, всё это – сон вымышленной героини:
сегодня ей показалось, что она больна раком –
омонимической карой за маленькие проступки

Мы сидим и беседуем о Содоме и Гоморре,
о преимуществах деторожденья
перед однополым соитием.
Официант, намекая, бренчит мелочью,
и скоро мы платим по счёту.
Жарко.

5

Жизнь – это роман: Ален Рене

"О, дайте, дайте мне свободу,
свободу вырваться из плена,
из поколенья архетипных!"

Неважно, кто злодей, но важно,
что распят Змей, злодей всегда наказан,
Иван-болван, афганский культуртрегер,
ужо сорвёт с прелестницы чадру,
всю расколдует.

Жизнь – это роман.

Роман свободный, где сквозные темы
друг в друга не смущаясь проникают.
Толпятся заменители событий,
не занимая, заменяя нас.

("Мы" – это оговорка героини,
наследие безграмотности, etc.)

И будущего смелые макеты:
над морем краснотканым льётся хор,
хор всенародной, мощной литургии:
сплошное поголовье: "мы-мы-му".

BACE

Посвящается В. Филиппову

На тридцать девятом году жизни
я – всё ещё Дева:
сизу (уж, по крайней мере, не стою)
и жду Благовещенья.
Ангелы приходят один за другим,
друг за другом (святые отцы говорят: бесы!)
Бесы, думаю я, но, видно, они любят друг друга,
один за другим путаясь в моей пряже.
Ах, хитра она, небесная паутина:
моя – не моя (скажешь, тоже!).
Вновь наступило время неофитов:
благоухают чернобыльские розы,
раззявилась Язва, разверзлась Дева:
пришли и Ты, и все вместе.
Ингмар Бергман на железном престоле
приплыл, опрокинулся с катафалка:
"Бог молчит, и мы – тоже!
О, если б построить театр железный!"
Но суровый, этот Ингмар Бергман,
но такой же бешеный, как Феллини,
как Джой, как его услужливый Беккет:
"Не спуститься ли мне за пирожными, сэр?"
"Что, что вы сказали? Включите, пожалуйста, это в текст"
И ты, конечно, пришёл. И Ты, и Ты. И все бесы.
Все пришли (Скучно читать? Писать – скучнее?)

Башляр (знаешь, кто это?) со своей пропагандой,
за ним "новые левые" (левые – все – бесы?)
Кто ещё? Moralite: прядите пряжу,
раскутывайте свиток, если Вы – Дева.
Он явится словом неизреченным, словом смазливym
(если Вы – Дева).
Подождите, я ещё не кончил:
"Маленькие дети Лесоруба, вспомните его заповедь:
Лес рубят – щепки летят".

7

Как странно! Можно говорить почти обо всём
(я имею в виду то, о чём следует молчать).
Позитивисты, наверное, ворочаются под землёй,
как Гоголь в своём гробу.
(И не только это, не только это, не только это).
Странно ещё и то что при всей цветущей сложности
мы ещё до конца не распространились.
Византия, говоришь? Египет?
мы ещё до конца не распространились.
Византия, говоришь? Египет?
А может быть, просто кипеж в Китеже
перед набегом Орды?
Но никто не уходит под воду, даже не смотрится в
зеркало.
Это было бы слишком соблазнительно:
представьте себе свальный грех
в зеркальной комнате Леонардо:
Мы снимаем пиджаки, историю...

реквием

Вот что значит не слушать советов:
говорил же мне приятель –
она после каждого минета
крестится на все церкви разом.
И начались волшебные разговоры,
обязательные встречи на помойках,
героические труды до петушьих криков,
а по утрам – приглашение к Чаше.
Всё это было бы весьма терпимо,
если бы не вавилонское смешение стилей,
если бы её нательные крестие
однажды не запутался в яйцах.

Если молчать, не дышать, не спускать семя,
всё равно ведь взорвёшься феерией мозговой.
Это опыт, почти научный, онанистов Фрейда и
Юнга,
опыт печальный.
Мне рассказали,
как один человек ворвался в райские врата
и забился в падучей.
Потом его причастили и старик пришёл в норму.
Нормальное время. Нормальные люди
с берёзовыми вениками – лес шелестящий.
Давай шелестить с тобою вместе,

уста – в уста: шелестеть другв друга
бессвязно, бескровно,
словно фильтруя красную кровь,
пропуская лишь одни лейкоциты.
Представь себе: Троица – здесь и Троица – на
Афоне!
А в Африке – такая жарница!

10

Самопознание, новая басня

Кажется, в роду моём не было аристократов,
а меня каждый день обуревают аристократические чувства:
ну, к примеру: омерзение, омерзение, омерзение.
Мне так ненавистны эти тридцать три оборота
(столько же поцелуев, объятий и соблазнов),
что, не случись Ницше с его Заратустрой,
мой стиль был бы бесконечный реверс.
Итак, те, что случаются, уже давно случились:
их плод – андрогин – репка речевого поля,
то, что называется Оно: тянут-потянут...

11

Гибель богов: Лукино Висконти

Юные боги СА с накладными буферами,
в чулках с подвязками.
Последний – Дионис – прощается с солнцем,
и когда режиссёр теряет последнюю надежду,
начинается ночь длинных ножей:
умирает Ашенбах и изящный д'Аннунцио,

как ни странно, тянется к христианству.
Это старость: лента кардиограммы
безразлично спускается на пол.
Это старость: подвязка ослабла,
чулок сморщился, спустился.
Это закат, умиранье.

12

Восстание богов: Сергей Параджанов

мусульманская пыль, семя тысячи тысяч
безымянных гурий. разноцветная соль богатства,
запекающаяся мозаикой на стенах,
на траве, на самих лицах, на голом камне.
Паутина музыки. Ковры. Факиры.
Смерть, смерть, смерть – а смотрится так красиво.
Тело в мандале, голова в ромбе,
и факелы, факелы, и всё – в чёрном.
А потом – декоративное море:
мальчики, мальчики, мальчики, – и всё – в белом,
но от отблесков тканей почти что голубые.
Мусульманское море. Христианства простая песня:
Если ты прекрасен, замуруй себя в крепость,
но сначала пойми, пойми как ты прекрасен!
Мальчики, мальчики, мальчики – все в белом
пашут лёгкую землю, скупую землю.
Ах, когда-то были они голубыми!

1986

эти сёстры редко бывают вместе
звздоочитое лицо вращающиеся ляжки
родники как клопы ползущие по телу
проникающие в твои губы уши ноздри
грибки меланомы
говори говори если хочешь что хочешь я
слушаю
слушаю твоя задняя о ослепительный ум
двуполый как всё совершенное
ты состоялось стоишь
держите меня святители
о других говорить не стоит

эти сёстры редко бывают вместе
во всяком случае
санитар приносящий судно
их не видит
сёстры фёдоровы израиля духа

19 августа 1986

православная музыка в морге
комильфо с изрядным перстнем
спрашивает вы довольны?
довольны довольны довольны
штукатурка прекрасна изящное помещенье
с чёрными детскими бантиками на стенах
протекает ну что же везде каплет
говорит он страна больница для морга
тут говорит он я сделал всё что возможно
знаете это не институт красоты величаем
величаем тя живодавче

13 августа 1986

ветер, ветер,
остановись, подожди,
не гони волну...

Снова, снова, снова
психоделическое время:
куриная кровь в моче морфиниста.

Сделайте мне укол надежды,
а то я дрожу от ужаса перед прошлым
в предверии настоящего.

В конце концов, всякого прошлого жалко:
кто теперь напишет:
Я родился в деревянной рубашке, за
железным занавесом.

Юное семя Лихачёва:
какая странная метафора,
совсем неинтеллигентная...

1987

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

папа что это?
торпеда мина
а это что?
мина мина торпеда
ну а это?
атомная подводная лодка
а это?
кожа советского человека куда же ты?
о, постель, постель, постель!
я же говорил тебе не трогай экспонаты
руками!

*

у злокачественной опухоли странные особенности
она как крыса мечется по жаровне
даже тогда когда тело уже сгорает
в этот раз вы не вернулись, мисс, как жалко
говорят даже устраивают на работу
правда в детском раковом корпусе нынче накладно
всегда берегли а теперь стерегут морфий

1985

слегка тронулось спуская пар время
бормочет газетное чёрное семя
назначая самому богу свиданье
и торчит торчит паллиативная клизма –
образей либерального буквализма –
покаяние покаяние

о как просто по-детски широко и открыто
рита ела маму мама мыла риту
вот и откровенья экономических сутр
а рядом с ними как на иконе
морда священника в законе
благословляющая скотский худор

1987

Немного филосо...

А. Волхонский

Я сидел и думал думал думал
Он сидел и думал думал думал
Ты сидел и думал думал думал
и в какой-то миг понял, что работа
сознания
бесполезна
согласитесь – это не более чем тавтология,
написало Оно

ибо разве сможет Он сотворить тот камень,
который не сможет поднять,
и почему именно камень,
и почему именно сможет, а не захочет
но ведь если Он не сможет,
то сможем ты и я
а если захотим
то, может быть, сможет и Он

ну, говорили они, предположим
и полагали всегда положение пред
незавидным, увы, положеньем

так предложенье руки без руки
оставалось одним предложеньем
пред положением в бред
на разноцветную персть земляную
в дурном переводе похожим

эти хищники филосо
им ещё далеко до сосо
а тому до них близко близко
говорят он кисок любил
ни одной из них не сгубил
только звал их всё кис да киска

кис кис кис вот и вся комедь
тут любовь побеждает смерть
а не девица-одалиска
и не фаустов гордый дух
кис кис кис философский пух
твой сосо, предположим, близко

но всё же помыслим, сказал мне знакомый чеченец
а я ему в пику: а помысел – бисова штука?
а он мне в науку: ведь есть же большая наука?
а я ему в кость: знать, в начале твоём и конец!

и начали, начали. Кончили Бог знает чем
он каплет мне на уши, я ему в очи спускаю
он станет молиться, а я ему: что, да почём?
затихнет, заплачем, а я ему всё не спускаю

мы так измотались, что в принципе он или я –
всё стало едино, одно, но с какого-то краю
шипела, болтала, шурша приближалась змея,
и он замолчал. Я пока говорю, но смолкаю

то что проявлено не узнано
а то что узнано не проявлено
два слова рядом с частицей поставлено
так уж поставлено установлено
два убогих слова

а убери частицу
и явлено будет узнано узнано станет явлено
в чём же дело друг мой сердечный
в частице ли сердца ума
плоти злой необрезанной
в частице ли Тела Пречистого

разбирается друг мой в словах разбирается
справа-налево и вдоль-поперёк
словом первым попавшим взмахнёт
и небесная палица
говову мне снесёт, видит Бог

вот тогда я безумный обрежу плоть крайнюю
и заверну в неё частицу сердца
и с этим нелепым даром
отправлюсь во дворец ко Господу
меняться на частицу Тела Его Пречистого

бес корнесловия не ищет
а умный в гору не пойдёт
но не в корнях ли нищих пища
ответь мне Отче-корнеплод

дух истомился как Россия
вся – бессловесье, вся ням-ням
ей хочется вопить "мессия"
ей ищется припасть к корням

отеческим. то вшей на теле
выкусывает допоздна
но что мне в ней на самом деле
в России ли моя вина

в Ерусалиме ли зазноба
моя пытается бедных нас
писателей тюрьмы и гроба
где и лукич как ананас

ещё не пробованный нами
уж опять обещан нам
но я-то сыт такими снами
и не хочу ещё ням-ням

и страшно так и нету мочи
в моей истории косой
в Париж я не хочу и в Сочи
когда там рядом Тбилисо

а вот с бердяевскою кисей
я прокатился б на часок
в небесное Париж-Тбилиси
чтоб схавать наскоро кусок

спросить Флоренско о Вернадско
о ноо или пневмато
как бытовать в пределе адском
нагешкой, в ползунках, а пальто?

то бишь: возможно ли спасенье
и так, где все пииты мрут
не умирая, словно сени
словесные – не блажь, а труд

невыносимый, град и огонь
неугасаемый, куда
товарищ лез поганкой в погань,
в погоны, в люди, в господа

не осуждал. не осуждаю
как не-поэт и гражданин
в стихах бессмысленных блуждаю
как хвощ блуждающий, один

как овощ во поле ненастном
полуседой, полунемой
врастаю в землю, в персть и в паству
ощупываю корень свой

январь 1990

ИЗ ЦИКЛА "ЦВЕТЕНЬЕ ДУХОВНОГО МЯСА"

В. З.

Нет, не плоть претворённую, не тело Сладчайшего Спаса,
Время – нищенка ищет и жрёт.

Но движенье цветов, но цветенье духовного мяса
ей приносит обманчивый плод.

Мелочь бедную в сотильные ль сложит купюры,
спрячет в синий чулок?

В комиссьонный ли сбавит господский книги, амуры?
– Ах, спасёт её Бог!

Пэтэушный, борматый и с крестиком чёрным на шее
Ждёт на лестнице, ждёт...

Ну иди же, старушка, иди же, смотри веселее...
И старушка идёт.

"Вот-те яблочко", – скажет, и отрок безумный отпрянет
отряхнёт волоса.

Только парень молиться не станет,
не уйдёт в небеса.

Он поднимется лестницей чёрной
и закурит траву,
а старуха по зауми вздорной
спросит: "Господи, где я?.. Живу?.."

июль 1991

Летают голубки. Трубят амуры.
Оркестр играет нужное туше.
Счастливый человек несёт птифуры
и смотрится в небесное псише.

Ему мигают радостные дуры,
пекущиеся о его душе,
а он несёт советские птифуры,
небесной ткани чувствуя туше.

Кругом кричат пророки и авгуры,
а гороскопы всем сулят амуры,
и все святые выстроились в ряд.

Идя вперёд себя, не строя куры,
российский человек несёт птифуры,
и ангелы из глаз его глядят.

март 1992

Ах, как люблю я вас, завитушки смеха,
дырки от бубликов, кружева бездельниц,
письма без ответов, Нарцисса без Эхо,
бессмысленные флюгера вращающихся мельниц.

Барокко, говорит мой серьёзный друг, барокко.
Я улыбаюсь ему лицом похожим на фигу:
ведь оба мы с ним – чудовища ветра-и-потока,
вписаны богом востока в одну смешную книгу.

Он – бодхистава-и-султан в своём странном гареме,
а я – крошка Алиса, превратившаяся в мужчинку.
Вместо странных себя говорим мы, какое странное время,
и тянем его, как беседу, как жевательную резинку.

Совсем не смешно, говорит он, косяком умирают люди
близкие, неблизкие и конечно же когда-то смешные.
Ничего, я молчу, явится Господь на блюде,
дядя Ваня, наступят времена иные.

Смех, он же больше, чем все его завитушки,
эти крематорийные соты, гражданские панихиды,
все эти оттепели на кладбищах, когда весёлые трупы,
гонимые ветром перемен, приплывают на страницы
журналов...

март 1987

II

...приплывыют на страницы журналов,
выступают стройной шеренгой,
вылезают из разных подвалов,
говорят на родительском сленге
забубенные овцы народа,

эмбрионы хранилищ от старых до малых,
чуть вращаясь и кувыркаясь
от контузий былых-небывалых,
каются, водой омываясь,
путая краны водопровода.

От Соловков до Магадана и Урала
расположилась мама, кость родная.
Так что можно и начать сначала
русско-сибирское id как ломтик кала
всё облизывая, припоминая...

Брошено "Я" или сброшено
с выи земной как обуза –
спрашивать страшно. Есть крошево:
семя погибших задёшево,
Чёрное Семя Союза.

1990-е

ИЗ ЦИКЛА "КИНЕМАТОГРАФ"

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МИЛИЦИОНЕР

Я пьяный шёл, мой путь был светел,
хоть и тяжёл: я много пил.
Милицьонер меня заметил.
Омоновец остановил.

Милицьонер спросил мой паспорт,
Я подал шатаясь.
Омоновец ударил в пасть мне,
"черёмухой" целясь.

И вдруг вокруг всё закружилось,
залаяли птицы.
Я думал это мне приснилось,
но длится и длится

бредовый сон. Скажи на милость,
что нужно им было?
Время почти остановилось,
застыло. Заныло

сердце мучительно. Теперь-то
я знаю, к примеру,
что лучше не сопротивляться,
и брать всё на веру.

ВРЕМЯ УЛЫБОК*

Кончилось время христианства
Его огромная лапа
торчит как "папа из-под шкапа".

Близится время мусульманства.
Его тишайшая поступь,
многоязычное золото
звенит, и нет мне покоя.

Но: Я не стану кришнаитом,
не буду бить в бубен,
есть рис. Лучше в Африку поеду,
к простым людоедам.

Лучше сходить на праздник тигра,
чем праздновать ваши.
Ах, добровольны ль ваши игры
и ваши "параши"?

* Название фильма М. Феррери. Стихотворение
написано во время Игр доброй воли.

НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Что впереди? Вертоград или полный ад?
Центр вулкана? Летающие блюдца?
Мёртвые тянут нас назад,
умоляя, уговаривая обернуться.

Чёрные мчат нас куда-то вбок,
Красные – чуть-чуть обратно.
Жуть разбивается о порог.
Плавают разноцветные пятна.

Схемы бесчисленных микросхем
летают, латают райские кущи.
Но если я кого-нибудь съем,
равно остаюсь впереди идущим,

спотыкающимся, падающим о порог
на пути к свободе или к борделю,
немогущим назвать Её – если бы мог,
я позвал к телетаксу бы Лил. и Лелю.

1992?

ВАМПИР*

Шумит и сбегается вся ребятня,
толпится угрюмый народ.
Из замковых чёрных ворот
вампира во гробе несут.

* Название фильма К. Дрейера, режиссёра-постановщика "Жанны д'Арк". – 30-е годы.

Он смотрит внимательно через окно,
окошечко в чёрном гробу,
на шпили готических строгих церквей,
Теперь ему всё – всё равно.

Ведь в сердце печальном осиновый кол,
и колокол в небе гудит.
Ах, сколько он книг гениальных прочёл,
какой же он был эрудит!

Всё в прошлом. Ведь кто его сын? – Буржуа.
Однако невестка проста.
Всё спустят они с молотка, и потом
все деньги они промота-
ют. Но к чему этот горный подъём?
Ведь кладбище так далеко...
Ах, он ещё жив?! В гору, в гору идём,
и дышится страшно легко...

Ах, он ещё жив! Трепещите, враги!
Вернётся он ночью живой
в свои апартаменты, нацелив клыки,
кладбищенской лунной тропой.

"Они не попали мне в сердце, друзья", –
ликует, злорадствует он.
Невестка, однако, ещё хороша,
и сладок пленительный сон.

18 июля 1994

Долго жить – долго мучаться,
коротко – хорошо учиться.
И зачем они, тучи, кучатся,
и куда летит эта птица?

Задавать вопрос – получать ответ,
а спроси ещё – кого спрашивать?
И к чему такой неизбывный свет
над могилою, над парашею?

Лирик с клириком, Ирод с крестиком
это связь ещё, но – словесная,
а наступит срок – будем вместе, как
семя в истине, пестик с пестиком.

В чёрном кубе шар, изнутри цветной,
а в ядре – пожар, а в пожаре – куб.
Кубоэротичный бог, фюрер заводной
точит клитор свой, как суккуб-инкуб.

Дурью мается, смыслом тешится. –
Хорошо ещё, что с ума сошёл,
чтоб креститься, бить, вешать, вешаться,
приглашать бомжей за роскошный стол.

19 июля 1994

Логофилит, умирающий в белой больничке,
чёрное с чёрным смыкающий, словно реснички:
бегают, тают, поют разноцветные птички.

То воробей, то синица склонились к обеду,
или педолог свой член предложил логопеду.
Время цветёт, умирает и катится к бреду.

Мама-сестричка бормочет, щекочет, смеётся:
это морфин и кретин в ней бесплодной неймётся,
но нерождённому слово впотьмах остаётся.

Катится камень, и кается, кается Каин.
Белый на белом по чёрному бродит хозяин,
ох, умирает, развёрстан, убит, нераскаян.

Тело бормочет во тьме, а душа словно птица.
Это – синица в руке? – Дорогая синица.
Катится, кается, бредит, немотствует, длится.

Белая, белая, белая власть демиурга.
Что-то мелькнуло как скальпель упавший с хирурга.
Милый, проснись! Над тобою работает урка.

Не просыпается. Шито не нитками – крыто.
В птичьем просторе большая собака зарыта:
нежный филолог взыскующий логофилита.

июнь 1994

СТИХИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

*Нет, весь я не умру. В цитации ребёнка
я оживу, как оживает вошь, щебёнка,
машина птиц безумных поутру*,
щебечущая: завтра я умру.*

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА

Зачем моя рука куда-то тянется,
какому отвечает пирогу?
Зачем мой правый глаз с утра ласкает всё,
а левый видит синюю ногú?

Не знает шуйца, что городит правая –
сарай ли, город строит на осях.
Я – рыбица, живя как будто плавая
у солнца в неуверенных гостях.

* "Машина птиц" – название картины П. Клее

А вот и дева, дева, дева встречающая,
подружка с неизменным посошком,
пришла как мать одеть меня, постричь меня.
Салям, салям, любезная, шелом!

Вот потянусь немного для разминочки,
и детство подоспеет – на, встречай!
Обуюсь в беленькие тапочки-ботиночки
и проживу как тихая свеча.

Века, века, разводы бледно синие.
Сгустилось всё, и все вокруг грустят.
У Моны Лизы усики павлинии,
а у Джоконды золото в горстях.

ОБЛЕГЧЕНИЕ

Не передать словами бег коня.
Словно душа выходит из меня,
теряя с опустевшим телом связь
и форму своей над мной глумясь.

Какая лёгкость, Боже мой, потом!
Прощайте, мать, отец, постылый дом!
Я запер двери тела на засов, –
Пусть мёртвые хоронят мертвецов.

Слепые будут слышать белый шум,
Хромые оседлают лёгкий ум,
а если ты захочешь в небеса –
я плюну в твои мутные глаза.

Ерусалим, о, Нью-Ерусалим,
мы все как свечи тихие сгорим,
но этот лёгкий предрассветный час –
моё блаженство, рай – здесь-и-сейчас.

С УТРА И ДО УТРА

Полковник ФСБ, округлый кадровик,
к овсяной каше с жадностью приник.
Здесь просто всё как АБВГД,
и старший лейтенант из МВД
с гаишником затеял тихий спор.
Шумы сплетаясь образуют хор,
как *miserere vobis*. Старый клён
в уток гусиный как влюблён,
шурша, волнуясь и роняя лист,
краснеет, но совсем не коммунист.

Холодный город спрятан за листвою,
то стон, то шорох нежити живой.
К полуночи, когда уснули все,
не спят лишь сны и фары на шоссе,
и чья-то боль. А я рисую знак.
Крадётся сон ко мне как маниак,
стирая все значенья. Буква Я
вплетается в безбытность бытия
как сверхотсутствие, и боль проходит, боль –
она ведь тоже некий алкоголь.
Я вижу сон: Великое Ничто

похерив жизнь, но натянув пальто,
как маятник качается в петле,
и сок его течёт по всей земле.
Поди узнай, где Запад, где Восток, –
гомункулус и слеп и одинокое,
считает рёбка, щупает свой стыд,
считает дни, теряя аппетит...
Что делать, он рождён не для любви, –
вдруг слышит голос: "Нет, живи, живи..."

И снова утро

Сентябрь-октябрь 1997

БЕЗ НАЗВАНИЯ

I

Будь я татарин или вечный жид,
муж именной или мудака прохожий,
куда ни обернусь – печальный вид:
жена моя вся в семечках лежит
по образу цыганки чернорожей.

Лежит она, погружена в эфир.
Минуют дни и иссякают годы,
шумит себе, бежит Гвадалкивир...
– Жена, поди, купи себе зефир.
– Нет, я вдыхаю опиум свободы.

О, семечки свободы! – Их грызая,
возможно ль шелуху везде не кинуть?
Ну, вроде бы, как, писая, нельзя
не влиться в реку или зад свой вынуть,
огнём его паля и не скользя.

И сам я сомневаюсь обо мне,
и мужний рок мне мыслиться не в сладость.
Жена – грызун. Я думаю: Уж не...
...уж не цыган ли я, когда во сне
мне колет бок подсолнечная гадость.

А впрочем, не всегда ж она лежит
вся в семечках – о, это только образ!..
Нет, – взбрыкивает, мечется, бежит,
шуршит, роняет шпильки, дребезжит,
а иногда и дуется, как кобра.

Я – не знакомый с прелестью буры –
не разумею слов её ужасных:
дальтоник я в мирах цветной мур. –
Куда мне знать, что нет страшной игры,
чем масть коричневых и червь каких-то красных?

Важней, что подгорает на плите:
пусть это даже будет и кашка,
но – божия! А что до "те-те-те",
мне ближе голубые, только те,
что посерей – без крапа на рубашках.

Стоит мимоидущая весна.
Какой-нибудь младенец зубы точит.
Всё семечки, всё семечки, жена!
Но "я" моё их грызть уже не хочет.
Страна, как гроб, по-новому тесна.

1993?

Положив руку на сердце,
а другую ногу на ногу,
я играю в себе понемногу –
что? что? – конечно же, скерцо.
Играю свою музыку,
распадаясь на члены и снова
собирая их в день воскресный,
пока Господь позволяет.

Губы – уже не губы.
Зубы – давно не зубы.
Волос седой страшнее оспы.* –
Значит, пора жениться,
жена, я хочу жениться!
Корми меня своим сердцем,
пока Господь позволяет.

* М. Мусоргский – Д. Шостакович, Н. Гоголь. "Женитьба"

Положив руку на руку,
протянув ноги как ноги,
скажем молча друг другу:
Мы готовы, мы уже боги!
Что за странная свадьба!
Я совсем расхотел жениться:
Волос седой всегда украшает,
когда Господь разрешает.

Ой, какая музыка!
Как цыплёнок в бульоне!
Лучше, как два цыплёнка,
целующихся на жаровне.
Нет, это несравненно!
Аллегро, лярго, фуриозо!
Похоже на трубу в чистом поле,
и дымок такой белый-белый...

1993

Жизни перетирается нить,
тают цветы письма в голубом конверте.
Хочется где-то как-то поговорить
с кем-то о чём-то от лица самой смерти.

Хочется нежную её вплести
в тщетную ткань стихопренья,
залатать все дыры ею, снести
ужас беспомощного её говоренья,

её пассионарный стиль,
крайние обходные переходы,
переводящие польку в кадрили,
годы в минуты, минуты прекрасные – в годы.

Почему мы так любим лопухи и другие цветы,
не надышимся пеплом ненавидимых и всяких ближних,
обряжаем покойников, затыкаем им рты,
замыкаясь в деяниях и понятиях книжных? –

от простоты ли её? Нет, от своей пустоты
сеет сеятель семя в ночи и кричит убого,

а его сменяют жнецы и прочие палачи
под скулящим червивым небом Ван-Гога,

Как парламент сменяет фронду, когда неслышно как Хам,
наготу отца родимого открывая,
к родовому древу крадётся пахан
то с трёхцветным фуфлом, то с флажком первая, –

Так и я залатал эту пиздорвань,
да держится-то она на голом слову,
на самовитом слове, давно перешедшем грань,
прямотекущего смысла в горькой его основе.

Звучи же, козлиная песня, цветы самосад
безграмотных роз, где я прохожу как мгновенье,
как Вакх, но с поправкою чаши: с цикутой цитат –
вплетаясь в ночное, тревожное, грешное пенье.

29 июня 1993

В. Кривулину

Холокост, сам себя поядающий.
Брошены письма в огонь,
но – фантомы – порхают ещё почтальоны,
перья роняя от страха.

Летит гроыхающий конь,
розовый, дымчатый, бледный, синюшный,
зелёный,
серый, как тень и зерно бессловесного праха,
прошлый, казнящий, прощающий.

Кого испугаешь? Какой-нибудь Йозеф и К°
возьмут крематорий в аренду,
как ночь бесконечную или клопа с потолка,
и не златом по камню, а просто-ки так на века
имя сплошное напишут.

Боязно? Это пока
кто-то живёт ещё, дышит,
словом об слово бубнит,
словесную строит фазенду.

май 1993

"Глаза сужаются", – говорит жена,
их пьяным ужасом поражена.

Конечно, сужаются: больно смотреть
на блеск мотыльков и безвольную смерть.

И уши чудовищной чушью полны,
и годы невнятные, и дни не видны.

И крест на осине Иудой повис,
что мой парадокс и твой парадиз.

Уныло, уныло, безрадостно всё,
и смазано мылом, скрипит колесо:

Колесовать себя хочет, тонуть,
скрипеть: это – жизнь, это – твердь, это – путь.

Путь богословов, писателей и
путь говорящей вороны, свиньи.

Все мы путём этим странным уйдём.
Как говорится: "Путём?" – "Всё – путём"

Говорится некстати, и – языком.
А кто с этим дивом теперь не знаком?

Разве что знаки, признаки, соловьи
украсят безвинный конец свиньи.

Но взгляни, записной мой язык-урод:
мандрагора уже, как полынь, цветёт.

Подними же мне веки, уши разуй,
развяжи мой цензурный и пошлый фуй.

Укrotи моё "я" последнее, стырь,
сотвори из меня притон, монастырь,

Пусть жена забормочет в сплошном бреду:
"Я к тебе после смерти ещё приду

поболтать, чем ты жив или мёртв сейчас
и зачем так широк твой безумный глаз"

22 мая 1994

Чем адовее день, тем легче ночь,
и без беспомощней, и никого не жалко.
Торчит во сне моя сухая палка.
Мне лень её сломать и превозмочь.

Рим далеко, а сук – он тут, как тут, –
мерило и сюжет, дорога к Папе
со свиткой хуевидной в чёрной лапе.
Торчишь, торчишь, а все вокруг цветут.

Одежды делят. Время четверят.
Играют в преферанс, играют время,
а я торчу во сне спуская семя
и тороплю себя проснуться в Ад.

Ах, вот и день! Он тёмн, как и светел.
Опять кричит то ль Питер, то ли петел.
Опять меня ебут, опять едят.
Я – рой и рай, и я не верю в Ад.

апрель 1994

С чего ни начинай... Начало? Нет начала.
Оно ведь то, что по ветру качало –
Аз, Буки, Веди – языка мочало
из пугала кромешного торчало.

Но чем ни кончи, а конец твой близок.
Он ни высок, ни крив, ни прям, ни низок,
и будь ты Пэр среди многих биссектрисок,
какой бы бог не взял тебя и высек?

Так начинай. Но, если думать, кончи.
О, муки творчества, кресты и шпалы, корчи!
Так много звёзд рассыпал Славный
Кормчий,
что ловит пёс их придорожный, гончий,
и лает и вопит: Аз, Буки, Ять!

24 декабря 1995

Безумие открыло ворота.
Что спорить здесь, кто крив, а кто разумен?
Так Слово слово, словно скот скота
приобрело. И окосел игумен.

А как же быть иначе? Божий враг
пусть не умён, а всё ж хитёр, однако:
то подсыпает цианид в коньяк,
то крестится, разрушив крепость знака.

А молится? И молится подчас
О государстве, О хлебах, О мёртвых.
А как иначе? Ведь приходит класс
(ну, просто класс!), где все различья
стёрты,

помимо всей тряпичной мишуры,
бокс-билдингов и прав на то оружие,
что выстрелило позже (чьей?) игры,
где море тает, различаясь с сушью.

1995

I

Полно пустое-то городить
о Времени, о себе-де, о себе.
Милое "де". Как странно стало жить
без беседы, без му-му, без бе-и-бе-бе

Странно ли? – выбирай: набирай, набирай
бледные букочки вечнозелёной статьи:
это и ад, и бессмысленно-буквенный рай. –
бедный Герасим... Что, что ты сказало? – Ти, ти...

Странная эта собачка, сказал мне Флобер:
Полно пустое-то городить
Экое выпало! – С, СНГ, СССР?
Ах, умерла! Нет, ну, сдохла. А хочется жить?

II

Хочется ли, можется?
Странно есть человечину:
буковок нет на кожице,
вся она изувечена.
А тот, кому и захочется,
может включиться в сеть:
набрать своё имя и слово и слово смерть.

Поле пустое, пустое поле, по –
(да о тебе же оно пустое, о тебе,
бедный зверёныш, кручёных и лимпопо) –
белое по или просто и ме и бе.

ОДА СОБАКЕ

А.

Люди заводят собак,
а Бог заводит людей.
Блохи же скачут и так и сяк
на Бога, собак и блядей.

Бог с головы – Он в мозолях – Блок,
не А. Блок, а блок идей,
почти исторических, полных блох,
истории и людей.

Литературно умирают не
собаки – они вполне
не Бродские – это так... –
не шутка: ништяк, пустяк.

Собаки, однако, от А до Я,
сдыхают как люди, псы,
избегая Алфавита, как свинья
укуса Аза – осы,

почти что как люди. Не дай им Бог
этих ужасов, блоков, блох.
Пусть кобель скажет суке: "Ах и Ох!"
Пусть Язык наш забудут псы.

1990-е

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Четыре вариации и кода

I

Борьба противоположностей

Как шмель перелетает с клевера на клевер,
так южный человек обнюхивает Север,
ткёт паутину мафиозных линий...
Красив и страшен глаз его павлиний,
когда ведёт он девку или "тачку",
когда "ломает" он "бумажек" пачку.

Допустим, что и он служил в Афгане,
допустим, что нажравшись разной дряни,
попал в ОМОН к отпетым русофилам.
Сейчас он "запоёт"... – Не тут-то было! –
"Эге, он Ваське, кажется, знаком...
– Ну, что ж ты, брат?! Тут все мы под хмельком.
Где подвизаешься, торчишь? В АОЗТ-Реванше?
Да, был слушок, что там "окопы роют" "ваши",
но мы достанем их... Ты так и передай!
Ну, оклемался? На, глотни... Иди... Гуляй!"

II

Перемещение тел в пространстве

Как шмель перелетает с клевера на кашку,
так "ваш" и "наш" поймали цацу-пташку,

подсунули ей "хаш" и напоили.
Как водится, втроём "поколбасили"
и постебались всласть, а на похмелку
подсунули ей ледяную грелку,
"Спуманте" горлышком воткнули в анус,
поставили на спину глобус,
и ну, давай вертеть... "Ты был в Париже?"
"Нет, не успел ещё... Я был пониже... –
– вот здесь..." "– Смотри, реа очнулась, сука!
"Спуманте" помогло... Так я о чём?.. –
– Ах, о Париже?! – Там такая с к у к а..."
"– Так ты там был?.."

III

Душевный разговор

"... – Париж, он обречён
на моносексуальность, спид. Там ходят
все по кругам. Там кружево идей
удавкою сдавило горло Жизни..."
"– А в Мюнхене жара... Баварцы ходят
друг к другу в гости на сосиски с пивом,
блюдя свой нацоналитет. Ты знаешь,
там много итальянского.." "– Неужто?"
"– Да, иммигранты, помеси кровей.." "– Вот уж не думал..."
"– Вспомни Крым. – Похоже". "– Мы з а к р ы в а е м с я".
"– Ты рассчитался?" "– Да". "– Пойдём ко мне,
жена нам будет рада. И есть, что выпить".
"– А ребёнок?" "– Спит. Бедняга, весь иссох он от латыни.

Всё. Дикси. Полчаса – и мы у нас,
а там тебе гораздо ближе к дому..."

IV

Психеи

...А лепетанье бабочек? А бред
их крыл? Их мусульманские зигзаги?
Их "да" неотличимое от "нет",
их слабый писк и трепетные флаги
распятых тел. Какой Набоков мог
их описать? И Август* "инфернальный"
в своём "Аду" – лишь бред для них, предлог,
залог мельканья их в ночи печальной.

V

Кода

Картинки с выставки. Как жизнь на них щедра!
Бывает, что восстанешь от одра
и смотришь, то включив, то выключая
досужий звук. А "быть или не быть?" –
вопрос иначе надо как-то ставить,
возможно, и совсем не вопрошать...
Чума, чума на оба ваши дома –
мир призраков и Текнолоджи Ворд.
Пусть распадутся ваши сигнатуры,
а девица воскреснет. Пусть дурак,
омывшись в бане, вновь её покроет.

12 августа 1994

* А. Стриндберг. "Ад"

*...Приникни, серафим, к устам и вырви мой...
И. Бродский*

Раковый, собачий, птичий корпус...
Кодекс языка уходит в конус,
в то почти безвидное величье,
где и тексты тают в море птичьем,

где и птичий жалкий иероглиф
бедному сознанию подоблив,
где Орёл ужасен и беззлобен,
Лев Матвею, как дитя, подобен.

Норка ищет мышку, а не кошку,
вошка жаждет смерти, а не вошку.
Групповуха тяготеет к вышке,
книжки страстно обожают книжки.

Вся эта гора, как Фудзияма,
обращаясь конусом, как яма,
ищет своих жутких альпинистов, –
псов, писак, антихристов, а-христов,

Здесь тебе и топос и утопос
куб и шар, размеченный, как глобус,
жезл и кол, а на колу мочало,
как державы вечное венчалю.

Говори, скажу я, но не сетуй,
если икс, преобразившись в зету,
по программе транссексуалистов
будет слишком нежен и неистов.

Бормоча и лая, как помешанный,
вдруг он вырвет Твой *dentat'*ой-бешеной*,
превратит и предаст обструкции,
подсолив мочою деконструкции.

Неужели отличишь, балдея,
эллина от иудея,
раковый, собачий, птичий корпус
корпус *Немана* и корпус *Deo*?

1995

* Словообразование от *vagina dentata* (лат.).

К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ

Если агрессия наступает снаружи –
впусти её в свою мерзкую душу,
а вот если прёт изнутри –
растопчи её, блядь, изотри.

Пусть она, как майя, как йота
ждёт иного круговорота,
обмена веществ, перемены существ,
как харизмы Козла – в идиота.

Но Козёл потому и стар, что – козёл.
Его столь позвоночный, как яблочный
ствол:
только корень внутри, всё – наружу:
эти деточки, яблочки... Чу! Кто пошёл
свою страшную мерзкую душу

так уныло спасать: вокруг ствола и козла
и вокруг незабвенного дуба:
говорили, что кот – это кошка была,
незаметно жила, однолюбо.

Говорили, что Пушкин, а Пушкин, он – скин
и, конечно, поклонник Зенита,
он давно уже вовсе совсем не один
и поёт и гремит знаменито.

Страшно, Пушкин, унылая нам предстоит
то ли гада, а то ли погода,
Возвращайся в свой склеп, возвращайся в
свой скит.
Ты умрёшь – не пройдёт и полгода.

ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ

В Троицу неделимую трое за мной следили:
или пахана искали или просто убить хотели.
Я и сам, как они, давно незнакомом теле,
а в глазах у них было одно, столь знакомое: или – или.

Я послал им импульс: убейте лучше друг друга,
если вы – убийцы. Быть может вы – просто тени
неделимой Троицы: валитесь, блядь, на колени,
обнимайтесь, кайтесь, ебите Отца и Друга.

Кто отец ваш? Какой-нибудь Ельцин-Лебедь,
жопоносный Гайдар, словно три в одном или вместе –
все стоят со свечами: угадай, а кто из них – нелюдь?
Патриарх живоносный, обнимающий всё очами?

1996

РЫТЬЁ ОКОПОВ

I

Памяти Бориса Слуцкого

Шла моя мама после работы,
сои поела, возникла рвота.
Остановилась, опростилась
и в голубую даль пустилась

через окопы, рытые ею. –
Страшно ей стало: может быть, змеи,
может быть, люди да людоеды. –
Как нелегко дожить до Победы!

Вдруг засветило: свет, как Нездешний.
"Может быть, я такой уж и грешной
и не была?" – подумала мама
и зашагала в светоч упрямо.

Свет, он всё ближе, с чёрной прокладкой
"Может, дадут мне чай с шоколадкой?
Где-то сестра троюродна в Париже.
Я-то зачем здесь?" А свет, он всё ближе.

Вдруг заблистало, вдруг засверкало.
Мама моя от ужаса пала

(вроде, от голода, как говорила).
Боже мой, Голод мой, что это было?

Снова очнулась. Шарит в прострации:
Где облигации? – Здесь облигации.
Где он, Тот Свет, как хотелось, Нездешний?
Тихо. Скворцы не поют, но скворешни...

Всё, что есть что: проволóка какая-то:
то ли пальто, нет, "рубашка" с окаинтом* –
комбинация – в ней, вокруг неё – ржи не ржи –
да, кругом, твою мать её, светились вши.

II

Прошное

Сколько простых и мудрых, простых
ушло в холостых.

Разве жена – это слово? Жена
той же болезнью поражена.

Разве себе и другим он был враг?
Не Пастернак, не Пастернак.

* Окаинт – простонародной обозначение слова "кант"
(матерчатая вязь)

Переводил Году Меир, поэт
Разве поэт сам себе – пистолет?

Вроде бы, стоик. А где-то есть шкалик,
тут и Мартынов, тут и фаскалик.

Проще нам было на прошлой войне.
Вроде бы, выжили. Нет, не вполне.

III

Настоящее

Лошади в океане или союз писателей
в сауне, как в тумане, ищет своих издателей:
был ли ты ранен? – я-то был ранен.
а испоганен? – Да, испоганен.

Любишь ли Пушкина? – Знаешь, Кукушкина
всякий – готов. Может, ты... – Кушнера?..
– Нет, не встречал. С кем ни кончал,
только не с ним. Страшно и душно мне,

Сердце.

IV

Размышление о будущем

Ничего, о, ничего не принесёт
эта бледная трепещущая рать
Чорт не съест, да и Господь нас не спасёт:
Всё одно, да только страшно умирать

так обыденно. Война и есть война
и ни дна ей ни покрышки нет и нет.
Тонут лошади, а чья и где вина?
Тот блажен, кто первый съел свой пистолет,

так обыденно.

МОНОЛОГ

А пишушим, пожалуй, несть числа.
Куда тебя нелёгкая несла?
Должно быть, в то же самое число
откель торчишь то беем, то ослом.

А где-то шестидневная война.
За перевод он получил сполна,
а там хоть кол на голове теши,
ну всё-таки оттяжка для души

Вот только этот странный брик-и-брак:
"Ну, что ему? – Хороший Пастернак,
Так славненько писал, не воевал,
всё в огороде ямочку копал

Копал и докопался. Но к чему?
Старик, больной. Куда ему – в тюрьму!
И с Нобелем пархатым в лагеря?
Нет, я б его сосватал в егеря.

Пусть щёлкает, трещит, свистит, поёт.
А здесь у нас послевоенный дзот
Мы окопались, мы скрутились все,
как белки в пресловутом колесе

Должно быть, есть цена всему. Цена?
Война? Какого хрёна? – Ни хренá!"
Однако, раны всё-таки болят
и как-то жить по-прежнему велят.

Свергли Маленкова и команду,
мыло расхватили и мочалки,
плакали, большой войны боялись,

выносили из саманных хаток
страшные бредовые портреты,
жгли костры и прошлое сжигали.

Помню, дед один орденосный
взял двустволку, выпив самогонки,
пристрелил любимую собачку.

Это было праздничное лето:
вишенное, яблочное что-то.
Страх и трепет, беспредметный праздник.

1997

СТАНСЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ

1

Мне всегда был страшен День Победы,
словно Эрос бешеной Беды,
красен, величав, почти беззлобен,
и салют его спермоподобен
серым крохам пляшущей еды
в шоу безнадёжной глаукомы,
где один рефлекс: лови, лови,
шарь, ищи.., – где лайф и лав от комы
так же отличаются как гомы
от своей бессмысленной любви.

Занавес. Но нету механизма,
чтоб легко поднять его, и грех
– поднимать... Там что-то вроде изма...
Клизма? – Нет, старуха, шлюха, призма
глаукомы, что одна на всех.

2

Однако же, будет, наверное, и Карнавал,
и Белые Ночи, любимицы Санкт-Петербурга,
и Пушкин француза убьёт (армянин, значит, турка),
русский – чеченца, а урке достанется урка,
– этот уж, детоубийца, конечно умрёт.

Белые Ночи. Старушка всё вяжет и вяжет,
словно сплошной Достоевский в гоморрских садах.
"Ангел, ты где моя душенька? – жалобно скажет,
– Ах, улетела? – Ну, сучка, тебе он и вмажет,
я-то уже не увижу, почти умираю, о, ах..."

3

Не нужно литроведенья и Спаса:
опять, опять мы дети новояза:
"Ты что, сбессировал?" – я слышу в спину. Жлоб
идёт за мною, напрягая лоб,
а два его непарных, как босая
БЦ ОД, идут меня спасая.
"Ты что – сбессировал?.. Смотри, смотри на зад.
Он выстрелит из зада – тот же гад".

4

Прелестный день, он весь течёт, звенит.
Нет, всё – Он душу мне не леденит.

Прелестный день, прелестный день и – всё:
они сосут, и я сосу, сосём.

Уснуть бы, – насосались, – но салют

Оно – Она и Он им не дают.

Бутылки бьют об окна, верещат

машины. "Дети, вам-нам не прощат..."

– шипит старуха. И – досужий бред:

собаки лают – окрика в них нет.

5

Бессонница, что старость: много снов
односекундных – сколько больше слов
сиюминутных и убогих рифм.

Всё снится мне безфальный поздний Рим
и христианства бешеного взмах;

старухи, что собаки, и в зубах

несут младенцев, то молясь, то как-то

всё отдаваясь бреду, словно факту.

И бред как пепел над телами реял.

Реальность бреда – факт и жизнь – Помпея.

6

Ну, вот ещё! – Давайте лучше клизму.

Я не хотел бы к экзистенцьялизму

прильнуть хотя бы левой, если правой

меня по морде бьют моей державой.

Я – Рыба, рыба в рыбе, словно кокон.
Мои иконы – окна. Нету окон.
Зато ходы есть, выходы и щели.
О, Боже, помоги своей дочери!

7

Слава, Те, Господи! Вот и Победа закончилась.
Кончилась ночка, опять развязалась похмельная,
словно сродни ей явилась Елда подземельная:
трахнула вкривь, а теперь Она снова – недельная,
снова подельная, пёсья и вся без остатка.
Бедный поэт, у тебя заболела простатка?
Всё уже было. – Ты просто возьми и умри.
Хочешь – пиши – не пиши. Вот, Один, раз, два, три...

1997

Жалко распяли Христа. Он, наверно бы мог замок построить за Гатчиной и в Подмоскowie, пенсию выдать слепой и умершей Прасковье, взять, наконец-то, с потомства текущий налог.

Жалко. Но жалобы жалки, и вялые палки снова хоругви воздвигнут и вперят в очко. Пасха Господня, и девки играют в скакалки, Кто-то по шее ребёнка проводит смычком.

Смачная музыка поюстороннего рая,
Ночи бессонной и жирного плотного дня.
Жалко распяли Христа. Он вопил, умирая:
"Отче мой, Отче, зачем Ты оставил меня?"

Жалко (конечно, приём поэтический), жалко.
Или распяли Христа, или просто в уста
втиснута жалоб народных могучая палка:
Мерить ей вёрсты опять откреста до креста,

был бы Радищев. Однако же, все мы в законе,
словно закона и нет. (– Ну, сказал!

– Так уж просто умри!)

Где Глазунов? Он бы нас написал на иконе
в звёздах, в крестах и назвал: раз, два, три.

Пасха Господня. Мордатые бродят солдаты,
техно и рэп верещат от зари до зари...
Только вороны мудры и, как прежде, крылаты.
Жалко, конечно, распяли Христа, но распятый
Он и вписал свою тему: Один, раз, два, три.

Жизнь не следит за теми, кто занят её слежением.
Время играет, довольствуясь размножением
всякой от всякого: то ли котов и мышек,
то ли чудовищ и вовсе бесстрастных фишек.

Жизнь не играет с чудовищем: кормит его, лелеет
и убивает, как жизнь, как маньяк в голубой аллее,
всё приговаривая: "Чистильщик, я ещё чищу,
чищу, пока живу – так дайте мне пищу!"

Ломберный столик, а зелень на нём увяла.
Комиссионный магазин. Теперь их мало.
Мышки кругом, вокруг голубые мышки.
Сторож играет в Себя, расставляя фишки.

2

Все мы восточней, но где-то и выше и ниже.
Вы бы представили: землетрясение в Париже,
в Осло и в Мюнхене; член затесавшийся в рот
отштукатуренный... Нет, мы всё выше и ниже,
между Аляской, Китаем, Хуйнёй и Парижем.
В жирной земле углубляясь бормочется крот.

3

В сущности, жизнь прошла. – Осталось немного:
впотьмах поиграть в козла, погневить русского Бога,
съесть пирожок с кошатиной, добро отличить от зла,
как человека от века, или ещё банальней:
как крысу в клетке словесной, экспериментальной
от бешеной крысы, что вопит, как в предверьи Рая,
выжимая педаль, педаль и педаль нажимая.

Где же он, Центр Наслаждения и Циклона?
В чёрной дыре сознания, в дыре озона?
А белизна письма, его зрелось, а проще – прелесть
– разве она сама – такая целочка, Целость?
Как криптограмму, когда-нибудь расшифруют
белое поле, найдут драконовы зубы
и удивятся: зачем же хранить их втуне?
Время взошедшее – наша общая тайна.

Такая умная, хорошая Сью Зонтаг,
а попади она в Гулаг, уже не говоря о прочем,
когда идут дожди, дожди, дожди,
когда вожди – склеротики, охранники – вожди,
какой дурак ей подарил бы зонтик?
Ну, разве что дырявый, чтоб она
под солнцем звёздные читала письма,
переводила: Йозеф К., Йозеф
читается почти как ваш Иосиф,

Иосиф Б. Какая Б. Ты, Зонтаг!
О, будь Иосифом, какой бы чёрный зонтик
я подарил тебе! Пускай, марьяж, кураж...
Но Ты и Б.: венецианский пляж...

Памяти Е. Смелкова

Убили и сожгли. Теперь совсем знакомого.
Ну, как теперь давить на кухне насекомого?
Бомжил и светел был, почти как Вечный Жид.
Все странствия закончились. Лежит.

А таракан ползёт... Я думаю, онали
и на какой неделе? Но едва ли
есть выбор для меня и для неё.
"Носите бремя". "Я" носить устали,
а "Ich" – они – другое бытие.

Тело почти чужое, какой-то скрипач на крыше.
Душа – в каком-то мутном странном Париже,
на самом деле – в здешнем городе Н.

Хотел бы я взлететь, как эскадрилья,
чужим, над самим собою расправив крылья,
разбив яйцо и едва не упав с колен.

Хотел бы я жрать бесплодных и страшных самок,
построить себе родовой и вонючий замок,
клыки наточить, воспитать детей...

Вверху как внизу: как ближние светятся в ближних,
так нижние светятся в верхних, а верхние – в нижних,
и всё на весу – без сетей!

1997

Шашлык на вертеле – события дня.
Вертеть их в памяти такой же бред,
как этот вертел посреди огня,
почти порядок и парад планет.

Чучмек их мне готовит по ночам:
отец и сын и дух, должно быть, святой –
кто поливает уксусом, кто вертит.
Поёт, трещит, шипит жаровня смерти.

1998

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА, ОБМЕН ВЗГЛЯДАМИ

Цезарь пошлости парящей,
ящур, ящик говорящий,
состоящий из голов
не свиных, но вся их сальность!.. –
Виртуальная реальность
стоит, детки, ваших слов,
ваших связей: словом – в слово,
но звучит оно толково,
то Оно, где связи нет:
там фигура, здесь фигура –
щёлкает клавиатура:
джойстик сводит всё на нет.
Все остроты пуще рвоты.
Мне-то как-то всё равно
бледнолицы ль ваши лица
(здесь Кручёных удивится
цель – слиянием в одно),
или так черны, о, Боже,
что вмастить по чёрной роже,
как исправить полотно,
взять, разрезать... Но тональность
бреда пуще, чем реальность,
виртуальней, что твой чёрт.

Вот глаза твои. – Что скажешь?
Небом бережно помажешь? –
Это – Windows или Word?
Мой? Моя? – Любой, красивый.
Надо бы презервативы
положить на красный стол.
Все-то бредят в луже, в лаже.
Хорошо ему в пейзаже.
"Ну, привет!" – А он зацвёл.

1998

ИМПЕРСКИЕ ВОЛКИ*

Страшные толки, дикие толки:
где же вы, где, имперские волки?
Тысяча вас или сотня?
Я бы хотел над нивой Господней
встретиться с вами сейчас-и-сегодня,
где же вы, где вы, и кто ваша сводня,
страшная ваша волчица?

Спряталась сука. Трещат вертолёты.
Это обычная волчья охота.
Васик, васёныш, васёк или кто ты?
Может – Есенин, до боли, до рвоты
капающий на родные киоты?
Спряталась, спряталась сука.

27 июля 1999

* Название группы контрактных войск России, воевавших на стороне Сербии.

Николаю Кононову, автору книги "Лепет"

Каждому бею, абреку поганому, юноше рваному нужен свой хадж.
Мамочка кашу мешает, крупицы по стенкам ползут, липнут на ободу
времени. Бедный сынок или я, как Илия, угрожает: отдайте мой хаш
или убья и убьюсь: слишком много огня, ближних, дальних и копоти.

Ближние ближе к заветной Каабе, крупней и пузырчатей, ближе
к метеосу яйцевидному, к центру Циклона и дальше от нелюди –
бледнотекущей по стенкам кастрюли и спёкшейся жижи.
Дальние – дальше: торчат, закипаются: мы-ли-то, те-ли-те?

Мамочка кашу мешает, папаша ей очень мешает, огромный, чуть
сподтатый,
кашеобразный, блюющий в огромную чашу творения – огнетворения,
папа тридцатый, инадцатый, с мамой и попочкой поднятой:
вот где пределы варенья, Аллах мой, и пена и суть говорения.

Главное: кру́гом – круго́м: венценосный пузырь он отнимется,
в горние воспарит, пустит кровь ещё, воспузирит он яму поганую.
Мама его успокоит, утешит, швырнёт в рожу кашу, поставит на вид
Образ свой тонкий, почти византийский, и жизнь –
что с младенчиком, что без младенчика сраную.

22 июня 2000

ЭЛЕГИЯ С ТАРАКАНАМИ

Мёртвый, мёртвый, а кушать хочет.
Как подумаешь о вампирах,
обитающих в эмпиреях,
позабудешь о тараканах,
заползающих в рот и в ухо.

Тараканий царь, я вампирую
и ничтожу жизнь тараканью,
затыкая ватой уши,
замолкая, нет, говореньем
уговаривая их убиться.

О, Господь, Ты Царь человечесий,
Ты живых различал и мёртвых,
Ты вползал в тараканьи мысли,
Ты их просто когда-то мыслил
и устал. Я так просто спился.

Отравился, сожрал парашу.
Всё как мёртвый, а жрать хочу я,
приносить словесные жертвы,
сеять семя своё, отраву
между звёзд и гнёзд тараканьих.

Мёртвый, мёртвый, а кушать хочет.

июнь 2000

МОНОЛОГ ЦЫГАНА, РАБОТАЮЩЕГО НА КЛАДБИЩЕ

Вчера копал могилу братану.
Сегодня я сижу и в ус плюю.
Иди сюда, Земфира, хватану
да так, что и на скажешь улю-лю.
А день такой погожий, ёбарь-день.
Убить его, убить его, убить.
Напиться ли, в Обводный шмыгануть?
Вчера копал могилу братану.

"Иди сюда, приятель, погостим.
Не разувай карман. Ты хочешь пить?
Приди ко мне в могилу к десяти –
мне так отколется... Дружбан, не надо пить.
Что пить – не пить, что быть – не быть, одно
сплошное разноцветное говно.
Вчера копал могилу братану...
Пивцо? Давай. Немножко хватану

А день такой погожий... – Ну, пошёл?
Да, я сегодня несколько тяжёл...
Представь, такая тяжесть на душе,

как будто я в могиле, нет – в меже
полуденной как пьяница лежу
и хер Господень ласково лижу.
Молчу, молчу. Нет, я совсем не пьян
Прости, прощай. Ну я пошёл, братан,

до встречи". Солнце светит. Хорошо.
Вчера копал... Придётся ведь ещё
копать, копать и жить. Копать, копать.
Немножечко легче стало. Божья Мать,
кто я такой, скажи, зачем я здесь.
Убей меня, возьми меня и взвесь,
как мене текел фарес упарсин,

прости меня. И я немножко сын,
Твой сын и часть от плоти Твоего
Любимого... – Ну как я? – Ничего.

Пойду домой и заварю чаёк.
Она не знает, ей-то невдомёк
кем приходится мне супруг-братан.
Нет, лучше взять ещё один стакан,
нет, полстакана... ("– Хочешь денег? – На!")
...и помянуть сегодня братана.

август 2000

МОНОЛОГ МАТЕРИ

Жизнь кончилась и началась.
Старушки певчие собрались,
голубки бешеные,
молятся, крестятся, ищут пищу
по своим углам, прячут доллар в подушку,
забывают о нём, снова молятся.

Молитва платная. Если шесть –
рублей, конечно, – просфоры есть.
Их надо съесть натощак,
до вчера ничего не есть, не пить...
Вот сынок пришёл, дурак,
надо его накормить
и самой поесть.

Болит, болит... Ну, а что болит?
Рак? Не чувствую, инвалид давно,
ну, вздохну, покричу.
Я старая интеллигентка – ну,
ну ещё раз возьму и на грудь приму,
а болит оно, как болит!

Жизнь началась и кончилась.
Где мой сын? Ах, он, сучара, не один,
в компании... О, компашка!
Мне больно, дурак, умираю я.
Конечно, была по жизни свинья,
но и ты, дорогой, дурашка.

Пойду к старухам, поговорю
с участковым, парнем толковым,
подарю ему "Ахматову", "Кузмина" подарю.
Пусть всё так и будет.
Я умру, пусть он курит и пьёт,
пусть колется – когда-то он тоже умрёт.
Господь меня не осудит.

Был грех когда-то... Двойной аборт.
Аборт, апорт, мосье де Лепорт,
де Сад, в саду были вишни...
Расин, Расин... Мне больно, мой сын,
почти не подняться... Соседка!
Дай корвалолу. – Конечно, пришёл.
Врача? – Не хочу, жизнь кончается.

Всё равно, жить, что глазеть в окно,
ву компрене? – Ну, вам всё равно,
милая, у Вас своё болит.
Что говорите? Сын ваш – инвалид
первой группы? В Афгане был и в Чечне?
Нет, не молитесь обо мне.
Я недостойна.

Да бросьте, не надо в милицию звонить.
Они посидят, разойдутся, когда-нибудь нить
эта порвётся. Спасибо за корвалол и за чай.
Можно я у Вас переночую?
Нет, всё хорошо... Я Вам заплачу.
Спасибо, мне мягко... почти что Монтень...
Завтра будет давно уже поздно...

август 2000

МОНОЛОГ ДЕРВИША

Я пронзаю себя узоверткой и толстой иглой,
долго в небо смотрю, громко плачу и страшно смеюсь.
А вокруг ребятя, шёпот, крики и холод, и зной.
Я в себя помолюсь и Тебе, и себе помолюсь

Жизнь бессмысленна, Птичка, однако и это пустяк.
Ястреб гонит сову, а сова упирается в мышь.
Мышь забьётся, как девка, в совиных железных когтях.
Это только начало конца, а конец, говоришь,

будет страшен, кровав? О, Аллах мой! – Ха-ха, да хи-хи!
Мы – единая кровь, мы единая плоть, мой Аллах.
Мы сегодня умрём, а завтра напишем стихи,
выпьем чарку, подкурим, забудем бессмысленный страх

и завьёмся танцуя, как бабочки в белом бреду,
Ты прими мой укол, мою страсть к Тебе, Господи Сил,
если Ты не дурак, а иначе возьму и убью
Тебя в сердце моём, чтобы понял Ты всё и простил.

август 2000

МОНОЛОГ ПРАВОВЕРНОГО

Тюбетейку мою – дар Хаджи Исламбека – вор похитил поганый.

В ней я был как в раю с головой, словно Мекка, а теперь стою грязный и нищий, и рваный.

Ведь в подкладку зашиты были доллары – много наменял я их в дикой толкучке.

Что мне делать? Ах, всё от Аллаха, от Бога!

И однако дошёл я до ручки.

А узнает Хаджи – не сносить головы мне.

Я, наверно, умру в это лето –

ведь вокруг головы на лице тюбетейки был начертан наказ Магомета.

август 2000

Эта зелень зелёная в столице срама –
моя крепь оголённая и цвет ислама.
Так чешу я на своей дурацкой трещотке,
а беженец божий спешит, перебирая чётки,
погоняя жену вслед себя и коляску с ребёнком,
и дитя, как зурна, голосит грубо-ржаво, порой и тонко.
А зелень зелёная, волны её, извивы –
солярного бунта гаснущие мотивы.
Повезло и ромашке и куриной, как смерть, слепоте.
Лодка вязла в бреду, чьи-то тени осколками бились о стены,
встречались, молчали, шептали: "Ты ушёл? Я ушла, я душа – я уйду".
Всё же было страшнее: конечно же, жук жрал листву,
а его так некстати, неловко
оседлала божья коровка,
всё бормотала старушка: "Дай пенсию, я тоже живу!"
Но страшнее всего эта зелень, как бред белены..
Гомункулус не взошёл, так пускай он зеленью закоснееет!
Обогатит генофонд изнутри, когда все мы пьяны,
а вино уже кончилось. Беженец божий идёт,
щупая паспорт и грошики в нищей подкладке,
жена его пилит. Младенец вопит. И вот –
я зелёный, как зелень, им наступаю на пятки.

июль 2000

МОНОЛОГ РЫБЫ

Я – тварь морская, рыба-идиотка,
и памятник себе, и маразматик.
Греби, рыбак, сюда! Качнулась лодка.
Я здесь, я здесь. Не упади, касатик!

Ты окосел. Бери меня левее,
ещё левей, и правь немножко вправо,
вот так. Теперь червя цепляй, и – точка.
Забрасывай удилице. Не пей.

Внимательно гляди, как подплываю
я ближе к лодке, потяни уду-то.
Я рыба-идиотка, я не знаю,
кто Ты, рыбак, – реальность или шутка?

Так этот мир бессмыслен и кромешен,
что рыб почти не стало – я последний,
последний царь, запутавшийся в тине.
Вот, погоди, распутаюсь, и – точка.

Возьмёшь меня за жабры, извлечёшь
крючок из губ моих, положишь в сумку
и выпьешь за меня, за упокой
души моей. – Как будто есть душа

у рыбы! Я ведь щука та ещё.
А ты меня попробуй без червя
да на блесну. Я рыба-идiotка.
Лови меня, лови меня, лови!

I love you, парень, пусть ты и мудака.
Люблю тебя, люблю тебя, Рыбак

5 августа 2000

Я прячусь в Тебе. Ухожу, ухожу.
Я – твой и внутри, как младенец, лежу,
как царь и букварь твоей жизни, как херъ,
ты знаешь сию и мою – вот пример

простой, словно пропись: жива ты жива?
Я мёртвый младенец в тебе, но едва
ты дверь отворишь – и я снова живой,
всегда без тебя, без тебя и с Тобой.

2000

СОДЕРЖАНИЕ

Как бестелесны и просты... ..	5
Баллада о флоре словесной	7

ИЗ КНИГИ «ЕПОХИ»

Я перестал лгать... ..	11
Как папоротника лист прикрыл момент укуса... ..	12
Прикусывая дни, все овуы разбежались... ..	13
Где лепетали волосы... ..	14
Нечетно раз бежит Евгений... ..	16
Белой ночью от гимна до гимна... ..	17
Плеяда всяких века позвонке... ..	18
Стансы	19
Сказал я: вот мои глаза... ..	21
Ворона хлопает крылами... ..	23

ГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Я вхожу памятью в этот дом... ..	27
Едва придешь как упадешь... ..	28
Легче газа и призрачной сна... ..	29
Господня смерть кружится надо мной... ..	30
Чистых эссенций ищет томящийся разум... ..	31
Смех мой, агиче, ангеле ветренный... ..	32
И сладость смертная и горечь бытия... ..	33
Завещание	34
Я не мечтаю, отец мой, о твоей мудрости... ..	35

Я ночь как сидень просидел.....	36
Шипит котел огнем объятый.....	37
Тучки по небу поплыли.....	38
По волнам небытия.....	39
Устав внимать словам как сводням.....	40
О, как мне век обезоружить.....	41
Когда у Девы ласково спросили.....	42
Восстал, как оползень, опившийся вигвам.....	43
Природа делает поэтом.....	44
Случается, я размышляю о нем.....	46
Еще скажу о небесах.....	48
Нет, память — не ноша, а пьяное время.....	49
Два солнца в моих глазах.....	51
Все лето мед горчит звездой полынной.....	52
Пиши, мой гений, сердцу моему.....	53
Славно поют советские люди.....	54
В окне моем ржавеет осень.....	55
Я брошенный, но кем, когда.....	56
Миры растворяются и наступает ясность.....	57
Родина моя, беременная солнцем.....	60
На Руси, на Руси, на Руси.....	61
Когда народ гуляет молодой.....	62
Эпиграмма.....	63
Мне умереть, как кашу съесть.....	64
Русской сказке не видно конца.....	65
Всего лишь несколько дней.....	66
Куда бежишь ты, бедный исполин.....	67
Открывая себя наугад.....	68
Стансы.....	69
Причастие.....	72
Этот лес и сонмы ос.....	73
Давай дробить на буквы мир.....	74
Плод покаяния — покой.....	75
Каждый из нас.....	76

О Боже облак дай мне силу жить...	79
Авва мой, дитя с глазами скворца...	80
Дитя мое, свершилось! Издалёка...	81
На бегство Ордын-Нащокина	82
Я ничего в себе не изменю...	84
Христос воскресый из мертвых...	85
Господи Милостивый Господи милый...	86

ИЗ КНИГИ «ГРАЖДАНСКИЙ ЦИКЛ»

Вновь распушились перья диких мнений...	89
Сентябрьская ошибка	90
Сентябрьский сонет	92
Сентябрьское провидение	93
Он умирал от честности своей...	94
Над Ветхим Заветом	95
О, я-то понимаю, что игра — игрой...	96
Сальери	97
В сером кошмаре трамвайно-колбасной войны...	98

ИЗ ЦИКЛА «HEIM UND HERD»

Я проснулся в утробе китайского змея-года	101
Радуга мира	102
В раю земном, где тернии да кочки...	104
Некрасивая история	105
После чая	107
В гостях	108
Пусть время облегает шелестя...	110
Я знаю, что бывает сауру	112
Стыд-цензор	113
Я так грешил, что сросся с этим псом	114

Я в комнатной скорлупке изнемог.....	115
Не то, чтобы страшно, а как-то темно.....	116
Песенка.....	118
Рисунок.....	120
Стеариновая элегия.....	121

СТИХОТВОРЕНИЯ 1974-1982

Эскизы детства.....	125
Прощание.....	129
Когда на плоскости просторной.....	131
Когда гвардейская девица пересечет ночную тьму... ..	133
Больного времени изгой... ..	134
Складень.....	135
Посреди тягучих бредней.....	137
В слове, тобою омоленном, я оживу.....	138
Я как тень меж собой и вами.....	139
Смотри, слепое слово бродит... ..	140
Хоровод Диониса.....	141
Эмигрант.....	143
Нет, не Фьоренца золотая... ..	145
Свидетели моих печальных оргий.....	146
Стансы.....	147
В этом городе на лобном месте.....	152
Я все думаю ни о ком... ..	153
Два ромansa.....	154
Что смущаешься, брат, скоморох... ..	156
Реминисценция.....	157
Мой друг беспечный, ты шалишь... ..	158
Реминисценция.....	160
О, наши жены страстны и крылаты!.....	161
Как странная тень... ..	162
На берегу озера: Четки.....	163

Читая Ездру	164
Я не знаю, откуда пришел и куда Он уходит... ..	166
Корабль дураков	168
На высоте российского обмана... ..	169
Путешествие	170
The voice of America	172
Чуть солей, чуть кровей... ..	174
Если б нас впопыхах не пришили заране... ..	176
Жалоба	178
Во Франции	179
Преемственность	180
Оттепель	182
Глубинка	184
Две вариации	186
Темные строфы	188
Диалог	191
Ночное	192
Отражения	194
Адыгейка (травы)	197
Слова для флейты	199
Вторая смерть	201
Стихи о союзах	203
Концерт для Психеи-sphinx	205
Сказ о женах скоморошских	207
Жалоба старца на пути	210
Во рву	212
Сентиментальная баллада	214
Даная	216
У Царских Врат в полузабытом мире... ..	217
Мало событий. Прочее неинтересно... ..	218
Чтобы священник тайно восплакал горе... ..	219
Посвящение ***	220
День — твоя тень... ..	222
Может быть, ты еще хочешь вернуться... ..	223

Все, что мной написано, говорила бабушка.....	224
Еще нас держат в материнском теле.....	225
Эпитафия.....	226
Изобретение Христа.....	227
Осень андрогина.....	229

ИЗ ЦИКЛА «THERAPEIA»

Дружества лепет сладчайший.....	233
Здесь ангел разделил пасхальный звон.....	234
Белый шум.....	234
Здесь в настоящем в бесцветном безвременьи дней.....	235
Душе постыло бабочкой летать.....	235
Густого эфира блудливый шумок.....	236
Постный канун. Надо льдом вековая метель.....	237
Так смерть приходит. Пять минут.....	237
Белая Тьма. Или в области вздохов.....	238
Духовная оптика смертных полетов.....	239
Четыре эпитафии.....	240

ИЗ ЦИКЛА «SOLILOQUIA»

Лента 1.....	242
Сию я вокруг.....	243
И, растворяя явь воздушной сети.....	244

ИЗ КНИГИ «ПОСТСКРИПТУМ»

Синтез.....	247
Вне языка не помышляй и жить.....	249
Шелушится тает черствая кора.....	250
Безвременье. Пищи хоть наобум.....	252
Как под корой сновидная игра.....	253

Писать, закрыть глаза, писать.....	254
P. S.	256
Уединение лонотворение хлеба	257
Я вижу во сне коляску на берегу моря.. ..	259
Пятый Рим	261
Помнишь, как в душной ночи... ..	265
Возле русской идеи	267
Чуден дух молочной кринки... ..	269
Сколько праздников... ..	271
В лесу земном, в саду, в соборе птичьем... ..	273
Экология	275
Кинематограф	276
эти сёстры редко бывают вместе... ..	286
православная музыка в морге... ..	286
ветер, ветер... ..	287
Картинки с выставки	288
слегка тронулось спуская пар время... ..	289
Я сидел и думал думал думал... ..	290

ИЗ ЦИКЛА «ЦВЕТЕНЬЕ ДУХОВНОГО МЯСА»

Нет, не плоть претворенную.....	295
Летают голубки. Трубят амуры.....	296
Ах, как люблю я вас, завитушки смеха... ..	297
...приплывают на страницы журналов... ..	298
Брошено «Я» или сброшено... ..	298

ИЗ ЦИКЛА «КИНЕМАТОГРАФ»

Сентиментальный милиционер.....	299
Время улыбок	300
Новое средневековье	301
Вампир	301

Долго жить — долго мучаться.....	303
Логофилит, умирающий в белой больничке.....	304
Стихи из больницы.....	305
Утренняя зарядка.....	305
Облегчение.....	307
С утра и до утра.....	308
Без названия.....	310
Положив руку на сердце.....	312
Жизни перетирается нить.....	314
Холокост, сам себя поядающий.....	316
«Глаза сужаются», — говорит жена.....	317
Чем адовее день, тем легче ночь.....	319
С чего ни начинай... Начало? Нет начала.....	320
Безумие открыло ворота.....	321
Полно пустое-то городить.....	322
Ода собаке.....	324
Картинки с выставки.....	326
Раковый, собачий, птичий корпус.....	329
К пушкинскому юбилею.....	331
Праздник троицы.....	333
Рытье окопов.....	334
Монолог.....	338
Свергли Маленкова и команду.....	340
Стансы к дню Победы.....	341
Жалко распяли Христа. Он, наверно бы, мог.....	345
Жизнь не следит за теми, кто занят ее слеженьем.....	347
Такая умная, хорошая Сью Зонтаг.....	349
Убили и сожгли. Теперь совсем знакомого.....	350
Тело почти чужое, какой-то скрипач на крыше.....	351
Шашлык на вертеле — события дня.....	352
Случайная встреча, обмен взглядами.....	353
Имперские волки.....	355
Каждому бею, абреку поганому.....	356

Элегия с тараканами.....	357
Монолог цыгана, работающего на кладбище.....	358
Монолог матери.....	360
Монолог дервиша.....	363
Монолог правоверного.....	364
Эта зелень зеленая в столице срама	365
Монолог рыбы.....	366
Я прячусь в Тебе. Ухожу, ухожу.....	368

М64

Александр Миронов

ИЗБРАННОЕ/Стихотворения и поэмы

1964 — 2000. — СПб. : ИНАГРЕСС, 2002. — 384 с.

ISBN 5-87135-134-4

В «Избранное» Александра Миронова (1948 г. р.), выдающегося русского поэта, лауреата независимой премии Андрея Белого, вошли произведения, писавшиеся им в течении последней трети XX века. Известный и потаенный, А. Миронов впервые предстает перед читателем с максимальной полнотой.

Александр Миронов
ИЗБРАННОЕ
Стихотворения
и поэмы
1964 — 2000

Редактор Е. Шварц
Художественный редактор М. Покшишевская

Сдано в набор 10.04.2001. Подписано к печати 23.03.2002.

Формат 70X90/32. Гарнитура Лазурского.

Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24 Уч.-изд. л. 25.

Тираж 1000 экз.

Заказ 99.

Издательство ООО «ИНАПРЕСС»,

Санкт-Петербург, Невский пр., 74.

Лицензия АР № 062759 от 21 июня 1998 г.

inapress@peterlink.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

ГИПП «ИСКУССТВО РОССИИ»

199099, С.-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2